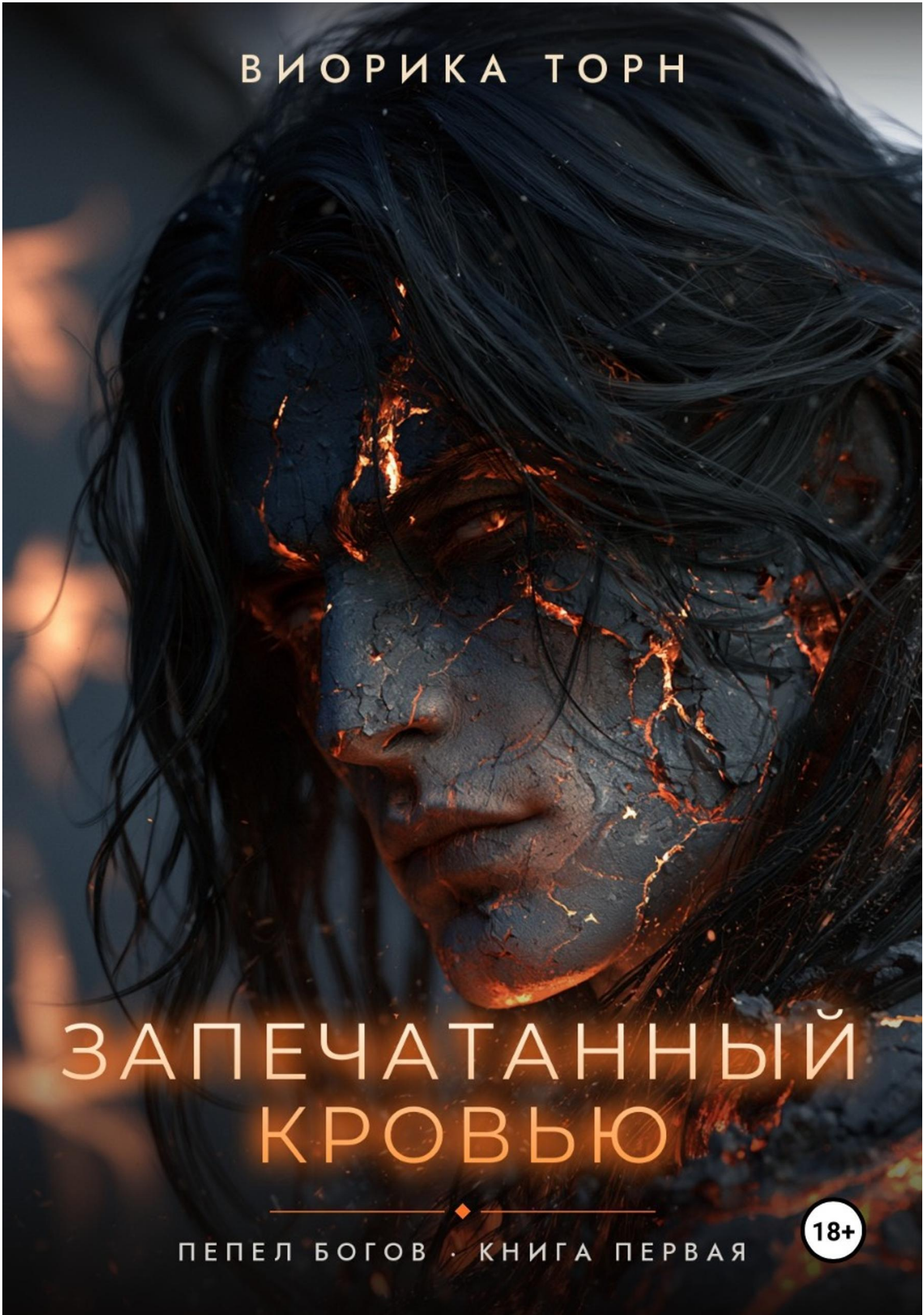

ВИОРИКА ТОРН
ЗАПЕЧАТАННЫЙ КРОВЬЮ
ПЕПЕЛ БОГОВ · КНИГА ПЕРВАЯ
18+

Виорика Торн

Запечатанный кровью

«Автор»
2026

Торн В.

Запечатанный кровью / В. Торн — «Автор», 2026

Добро пожаловать в историю о богах, которые рассыпаются пеплом, и смертных, чья кровь стоит дороже королевств. Книга пишется в ритме чередования взглядов: глазами служанки Рейны и пробужденного бога войны Кассиэля.Здесь не будет всепрощающей ванили и внезапных всесильных спасителей: каждый шаг оплачен кровью, расчетом или потерянной памятью.Приятного чтения! Делитесь впечатлениями и теориями в комментариях — они вдохновляют писать дальше быстрее.В тексте:- по-настоящему жестокий герой- похищение и вынужденная близость- связь, скреплённая кровью- медленное притяжение- 18+, ХЭ

© Торн В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кровь на печати 5
Глава 2. Имя, которого нет 12
Глава 3. Святилище 16
Глава 4. Статуя без лица 21
Глава 5. Пепельный 25
Глава 6. Пепельные пустоши 29
Глава 7. Цена Искры 32
Глава 8. Закон Круга 36
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Виорика Торн
Запечатанный кровью

Глава 1. Кровь на печати

В храме, где я выросла, было три правила. Не смотреть на статую в нижнем зале. Не задавать вопросов. И раз в год, в Ночь Долгой Тьмы, протягивать верховному жрецу ладонь и говорить спасибо, пока он режет.

Я соблюдала их пятнадцать лет.

Этой ночью я нарушила все три.

Обряд был заведён задолго до меня и, верили все, будет жить после. Служанка спускается в нижний зал, протягивает ладонь, и верховный жрец ведёт по ней серебряным ножом — бережно, почти нежно, как ведут пером по странице. А служанка благодарит. За честь. За то, что её тёплая, ничтожная, человеческая кровь удерживает мир от пожара ещё на один год.

На моей левой ладони жили пятнадцать белых шрамов. Тонкие, ровные, они ложились один к другому, как строки в книге учёта, и каждую строку я могла прочесть на ощупь, с закрытыми глазами. Первая вышла кривой и широкой: мне было восемь, и я дёрнула рукой. Таэлир тогда не рассердился. Он вообще никогда не сердился. Он просто сжал моё запястье крепче и провёл ножом ещё раз — медленно, чтобы я запомнила.

Я запомнила.

Сегодня ночью книга должна была пополниться шестнадцатой строкой.

— Ты третий раз полируешь одного и того же бедолагу, — сказала Мэйв у меня за спиной. — Если он заблестит ещё сильнее, жрецы решат, что в нём завёлся святой дух, и начнут ему молиться.

Серебряная кладовая пряталась в полуподвале восточного крыла — длинная, узкая, без единого окна, похожая на шкатулку, которую давно забыли открыть. На полках до самого потолка дремало праздничное серебро храма: подсвечники-лилии, чаши с ажурными крышками, подносы, по краю которых вечно падали чеканные листья — и никак не могли упасть. Пахло мелом, свечным салом и сыростью камня.

Я опустила тряпку. В выпуклом боку подсвечника плыло моё отражение — вытянутое, кривое, как в ложке. Бледные щёки, тени под глазами, прядь пепельно-русых волос, сбежавшая из-под серого чепца. В серебре глаза казались почти прозрачными, хотя на самом деле они серо-зелёные, цвета реки подо льдом. Мэйв говорила, что это единственное красивое, что во мне есть, и что эльфы потому меня и не замечают: красота у меня тихая, как вода зимой, а они любят ту, что звенит.

— Он грязный, — сказала я.

— Он чистый. Это ты грязная. Мыслями. — Мэйв забрала у меня подсвечник и вернула на полку, к его сверкающим братьям. — Думаешь о ноже.

Мэйв была старше меня на десять лет и шире вдвое — крепкая, румяная, с веснушками на носу и на руках, будто кто-то в шутку обрызгал её охрой. Рыжие волосы вечно выбивались у неё из-под чепца, а в косу она каждое утро вплетала красную ленту — выгоревшую, с растрёпанной бахромой на конце. Единственная яркая вещь, которую у неё не отняли, когда много лет назад её привезли в храм вместе с другими пленными из южных деревень. Ленту полагалось прятать, и Мэйв прятала, но кончик всё равно выглядывал из-под чепца, как язычок пламени, который не желает гаснуть. Руки у неё, как и у всех нас, были красными от щёлока до самых локтей.

— Боишься? — спросила она тише.

— Нет.

Это была почти правда. Нож — пустяк, к нему привыкаешь, как к холоду. Порез затягивается за неделю, а в ночь Обновления служанке наливают вина и разрешают проспать утреннюю молитву. Боялась я другого. Но об этом не знал никто. Даже Мэйв.

Снов.

Они приходили каждую осень, когда ночи начинали обгонять дни. Темнота — густая, тёплая, как одеяло, которым тебя укрыли с головой. Запах гари, будто рядом дышит костёр, давно уставший гореть. И голос. Низкий, неторопливый, чуть хрипловатый — так говорит тот, кто очень долго молчал и никуда больше не спешит.

«Ещё один год, маленькая служанка. Ещё один».

Семь осеней подряд я просыпалась от этих слов с колотящимся сердцем и привкусом пепла на языке. И семь осеней молчала. В Храме Печатей людям не полагалось видеть сны. Тех, кто видел, уводили к жрецам — побеседовать. Обратно не возвращался никто, и мы научились не спрашивать, о чём была беседа.

— Иди уже, — Мэйв легонько толкнула меня к двери. — Переоденься. Таэлир не любит ждать, а когда он чего-то не любит, страдают обычно не те, кто виноват. — И уже в спину, почти шёпотом: — Я вина припрятала. Настоящего, с господской кухни, а не той кислятины, которой нас поят по праздникам. Вернёшься — выпьем. За шестнадцатую строку.

— За то, чтобы она была последней, — сказала я.

Мэйв фыркнула:

— Мечтай потише. У здешних стен уши длиннее, чем у эльфов.

Я улыбнулась. Тогда я ещё не знала, что этого вина мы так и не выпьем.

Служанки жили в каморке под главной лестницей — четыре узкие койки с соломенными тюфяками, один сундук на всех, гвозди в стене вместо шкафа и окошко размером с ладонь, затянутое мутной слюдой. Сейчас слюду изнутри затянул иней, и по ней распускались белые перья, тонкие, как кружево, которое нам никогда не позволят носить. На гвозде висела шаль Мэйв — бурая, вязаная, с дырой на углу, которую она третью зиму собиралась заштопать.

Ритуальное платье ждало меня на койке. Старшая прислуга разложила его с такой тщательностью, словно в нём собирались хоронить. Белый лён, тонкий до прозрачности: сквозь него просвечивала бы кожа, будь в каморке хоть немного света. Без рукавов, до щиколоток, без пояса и застёжек — его надевали через голову, и оно падало прямыми складками, как саван, сшитый заранее. На груди серебряной нитью был вышит круг печати, точно над сердцем, — чтобы никто не перепутал, кому это сердце принадлежит. Обувь не полагалась. Чепец — тоже: в нижний зал служанка входит простоволосой.

Я сняла серое шерстяное платье, фартук в пятнах мела, вязаные чулки — всю свою жизнь, если сложить её стопкой на сундуке. Расплела косу. Волосы рассыпались по спине ниже лопаток, тяжёлые и прямые, пахнущие дегтярным мылом. Лён скользнул по коже — холодный, как вода из колодца в январе. Этот миг я ненавидела больше, чем нож. В нём я переставала быть Рейной и становилась тем, чем меня видели здесь с семи лет.

Подношением.

Храм Печатей стоял над Илларином, как кость над раной: белый, высокий, выточенный эльфами из камня так тонко, что днём сквозь его стены просвечивало солнце. Ночью он сиял сам. Руны на колоннах тлели серебром, и город внизу спал в этом холодном свете, как ребёнок под взглядом строгой няньки — не смея ворочаться.

Галереи были вымощены светлым мрамором с дымчатыми прожилками, отполированным до того, что колонны отражались в полу и казалось, будто идёшь по воде. Сами колонны — тонкие, витые, как стебли тростника, — под сводом раскрывались веером каменных листьев. В нишах стояли эльфийские герои с лицами одинаково прекрасными и одинаково пустыми, как маски, которые забыли надеть. Стрельчатые окна были затянуты не стеклом, а пластинами

лунного камня, тонкими, как лепестки; днём они светились молочной голубизной, а сейчас в них стояла глухая ночь. Пахло ладаном, холодным камнем и, едва-едва, морозом, который просачивался сквозь стены, как вор.

Эльфы скользили по галереям беззвучно. Высокие, тонкие, в длинных одеждах цвета снега и пепла, с волосами, заплетёнными в сложные косы, где поблёскивали серебряные нити. Их взгляды проходили по нам, людям, как по мебели: ни злобы, ни презрения — ничего. Меня привезли сюда семилетней, сейчас мне было двадцать три, и я выросла в этом «ничего», как трава вырастает в трещине мостовой. Привыкла. Почти.

Босые ступни немели на мраморе. Двое стражей шагали по бокам, не удостаивая меня взглядом. Их доспехи были из светлой стали такой тонкой работы, что на нагрудниках можно было пересчитать прожилки чеканных листьев. Высокие шлемы с гребнями, белые плащи, подбитые серебристым мехом. В одной руке — копьё с наконечником в форме ивового листа, в другой — фонарь из матового стекла, где горел не огонь, а холодный голубоватый свет, похожий на звезду, пойманную в банку.

— Тише шлёпай, человечка, — бросил тот, что шёл слева, не поворачивая головы. — Ты не на кухне.

— Простите, господин. В следующий раз отращу копыта поизящнее.

Он остановился так резко, что фонарь качнулся. Второй страж издал звук, подозрительно похожий на смешок, и тут же сделал вид, что закашлялся. Мгновение левый смотрел на меня сверху вниз — так смотрят на табуретку, которая вдруг заговорила.

— Иди, — процедил он наконец. — Сегодня твой язык ещё пригодится. Благодарить.

Я пошла. Сердце колотилось у самого горла: за такое могли выпороть. Но в Ночь Долгой Тьмы подношение не трогали. Подношение должно было дойти до алтаря целым.

Лестница в нижний зал начиналась за неприметной дверью в конце западной галереи и уходила вниз тугой спиралью, как раковина улитки. Первые ступени были из того же белого мрамора. Потом камень менялся — становился тёмным, грубым, стёртым посередине сотнями ног, словно эту лестницу клали не эльфы и совсем в другие, забытые времена.

Триста двенадцать ступеней. Я считала их каждый год, как молитву.

И каждый год замечала одно и то же: чем глубже, тем теплее. Наверху, в нашей каморке, к утру замерзала вода в кувшинах. Здесь воздух становился сухим и горячим, как у раскрытой печи, и пах пеплом. Стены из чёрного камня грели ладонь, и кое-где на них проступала старая резьба — молоты, языки пламени, чьи-то сильные руки, сбитые зубилом и затёртые, будто кто-то очень старался, чтобы о них забыли. Каждый год я касалась их пальцами. Каждый год страж бил меня по руке.

Будто там, под храмом, что-то дышало. И ждало.

Нижний зал был круглым, под куполом, который тонул во тьме, как колодец, перевёрнутый к небу. Здесь не было ни мрамора, ни витых колонн, ни лунного камня — эльфийская красота сюда не спускалась. Только чёрный шершавый камень и четыре колонны, каждая в обхват столетнего дуба, и на каждой — железное кольцо размером с тележное колесо. Пол покрывали руны, врезанные в камень и залитые серебром: кольцо в кольце, всё уже и уже, как круги на воде от брошенного камня, — только этот камень лежал на дне уже десять веков. Пахло кузней: раскалённым металлом, окалиной, пеплом.

В центре последнего круга стоял он.

Заключённый.

Только так называли его жрецы — ни имени, ни титула, словно имя могло его разбудить. Статуя из чёрного камня, матового, не дающего ни единого блика даже под светом рун: этот камень не отражал свет, а пил его. Мужчина на коленях, с опущенной головой, — и даже на коленях он был почти вровень со мной. Руки разведены в стороны, на запястьях и шее — железные обручи, от которых к четырём колоннам тянулись цепи, каждое звено толщиной в

мою руку. Тяжёлые каменные пряди волос падали ему на плечи и наполовину скрывали лицо. На груди, там, где у живого билось бы сердце, в камень врос серебряный диск печати размером с мою ладонь. Руны на нём сплетались так густо, что сливались в узор, похожий на иней на окне.

Я старалась на него не смотреть. Скульптор, кем бы он ни был, сделал свою работу слишком хорошо — так хорошо, что это было почти непристойно. Резкие скулы, прямой нос с едва заметной горбинкой, жёсткий рот, тяжёлые веки, под которыми, казалось, вот-вот дрогнет взгляд. Он был обнажён по пояс, и камень помнил каждую мышцу на его плечах и спине — натянутых так, словно он всё ещё рвал эти цепи. Столько веков — и всё ещё рвал. Красота его была жестокой и неправильной, как красота пожара, и от неё у меня всегда холодело внизу живота.

— Рейна.

Верховный жрец Таэлир ждал у края последнего круга.

Высокий даже для эльфа, прямой, как копьё, воткнутое в землю. Белое одеяние до пола, жёсткое от серебряной вышивки, с высоким стоячим воротником, подпиравшим подбородок, — будто голову ему держали, чтобы он никогда не смотрел вниз. На лбу — тонкий серебряный обруч с лунным камнем, таким же бледным, как его глаза. Волосы цвета инея стекали до пояса, гладкие, без единой косы, — так смел ходить только верховный жрец. Лицо без возраста, гладкое, как у юноши, но глаза — бледные, как зимняя вода подо льдом, — были старыми. Очень старыми. На длинных пальцах поблёскивали перстни, и от него всегда пахло ладаном и чем-то металлическим, словно от монеты, которую долго держали во рту.

Он улыбался мне так, как улыбался всегда, — мягко, ласково. Так улыбаются хорошо откормленной скотине накануне праздника.

— Ваше святейшество. — Я опустилась на колени, как учили. Камень под коленями был тёплым, как печная лежанка.

— Встань, дитя. — Голос у него был красивый, текучий, как мёд с ложки. — Ты дрожишь.

— Здесь жарко, ваше святейшество.

— Здесь всегда жарко. — Таэлир чуть склонил голову, разглядывая меня с ласковым любопытством. — Тысячу лет. Ты удивишься, как быстро ко всему привыкаешь, если тебе объяснили, что так нужно миру.

— Да, ваше святейшество.

— Хорошая девочка. Сегодня ты служишь миру.

Двенадцать жрецов стояли по кругу в серых балахонах с глубокими капюшонами. За пятнадцать лет я ни разу не видела их лиц и порой думала, что лиц там нет вовсе — только темнота, умеющая петь. Они запели — тихо, на древнем языке, которого я не понимала, — и руны на полу начали разгораться. Кольцо за кольцом, от края к центру. Серебряный свет подбирался к статуе, как прилив подбирается к утёсу, и в этом свете чёрный камень казался ещё чернее.

Таэлир взял меня за запястье. Пальцы у него были сухие и прохладные, а перстни впивались в кожу, как зубы. Он подвёл меня к Заключённому — так близко я стояла к нему лишь раз в году. Камень дышал жаром; я чувствовала его всем телом сквозь тонкий лён, словно стояла у раскрытой печи.

Нож у Таэлира был тот же, что и пятнадцать лет назад: тонкий, изогнутый, как молодой месяц, серебряный, с рукоятью из белой кости. Он коснулся ладони. Боль — короткая, острая, знакомая, как старая колыбельная. Таэлир повернул мою руку, и кровь закапала на печать, тёмная, почти чёрная в серебряном свете.

Раз. Два. Три.

Обычно на этом всё и заканчивалось. Руны вспыхивали ровным серебром, печать впитывала кровь с тихим шипением, будто вздыхала, жрецы допевали последнюю строку, и меня уводили наверх — к вину и бинтам.

В этот раз руны вспыхнули красным.

Пение сбилось, как сбивается шаг на тёмной лестнице. Кто-то из жрецов охнул. Пальцы Таэлира сомкнулись на моём запястье так, что хрустнули кости.

А потом раздался звук. Я узнала его сразу, хотя никогда не слышала в этих стенах: так по весне трескается лёд на реке — глухо, протяжно, где-то очень глубоко, словно сама земля решила вздохнуть.

По серебряному диску побежала трещина. Тонкая, как волос. За ней — вторая. Из трещин пробился свет — не серебряный, а оранжевый, живой, горячий, как сердцевина углей в печи.

— Ещё, — сказал Таэлир. Голос у него стал чужим, и вся медовость стекла с него разом. — Ещё крови.

Он полоснул снова — не по ладони, по предплечью, длинно и глубоко, от запястья почти до локтя. Я закричала. Кровь хлынула на печать, побежала по чёрному камню тёплыми ручьями, залила подол белого платья, и лён тут же стал алым, будто таким и был соткан. Таэлир прижал мою руку к камню и навалился всем весом.

— Держите её! — рявкнул он стражам. — Если понадобится — всю!

Всю.

Слово дошло до меня не сразу — так холод доходит сквозь толстую шаль. А когда дошло, я перестала вырываться. От ужаса. Пятнадцать лет он улыбался мне. Пятнадцать лет называл дитя. И всё это время знал, что однажды может выпустить из меня всё до последней капли — и сделает это так же спокойно, как гасят свечу.

Камень под моей ладонью шевельнулся.

Я подняла голову.

Заключённый смотрел на меня.

Сквозь каменные пряди, упавшие на лицо, сквозь века темноты — на меня. Глаза были открыты. Чёрные, целиком, без белков, а в самой их глубине тлел огонь, как угли под золой, которые кажутся мёртвыми, пока на них не подуешь. Он смотрел не на Таэлира. Не на жрецов. На меня.

А потом статуя рассыпалась.

Не раскололась — именно рассыпалась, как рассыпается догоревшее полено, если тронуть его кочергой. Чёрный камень пошёл трещинами, и из каждой трещины посыпался пепел — мягкий, серый, тёплый. Он падал хлопьями, как первый снег, ложился мне на волосы, на ресницы, на губы, и на вкус был горьким, как дым. Цепи раскалились добела. Звенья потекли, как воск, и с шипением осыпались на пол сияющими каплями.

Он встал.

Выше любого эльфа в этом зале — на голову, если не больше. Пепел осыпался с него и кружил вокруг, окутывая его, как плащ из серой пыли. Под пеплом была кожа — живая, но серая, как остывшая зола, исчерченная тонкими трещинами, и сквозь трещины тлел огонь, как лава сквозь застывшую корку. Чёрные волосы, спутанные, припорошенные пеплом, падали ниже лопаток. Лицо было тем же, что у статуи, — резкие скулы, жёсткий рот, прямые тёмные брови, — только живое. И от этого во сто крат страшнее.

Он поднял руки и посмотрел на свои пальцы — длинные, с тяжёлыми суставами, оплетённые сетью огненных линий. Посмотрел так, будто видел их впервые.

Наверное, так и было.

— Тысяча лет, — сказал он.

Голос был сорванный, сиплый, будто горло его тоже ещё не до конца стало плотью. И всё же я узнала его — так узнают запах родного дома, даже если не были там целую жизнь.

— Тысяча лет, Таэлир. А ты всё так же фальшивишь на третьей строке.

Никто не двинулся. Двенадцать капюшонов застыли, как надгробия. Таэлир отпустил моё запястье — впервые за пятнадцать лет он отпустил меня сам, — и я осела на тёплый камень, прижимая к груди изрезанную руку.

— Стража, — сказал Таэлир очень ровно.

Первым опомнился тот, что шёл слева, — тот, что велел мне не шлёпать. Он ударил копьём, умело, коротко, в открытый бок. Ивовый наконечник вошёл бы под рёбра любому из живущих.

Бывший пленник даже не повернулся. Он просто поймал копьё на лету — голой рукой, как ловят брошенное яблоко. Под его пальцами светлая эльфийская сталь потемнела, покрылась рыжей коростой и осыпалась бурой трухой, и серебряный наконечник со звоном упал на камень у моих ног.

— Не так, — сказал он стражу почти с сожалением. — Совсем не так. Кто вас теперь учит? Неужели вы сами?

И протянул руку к его шее.

Хруст был тихим. Буднично тихим, как хруст сухой ветки под сапогом. Шлем с гребнем покатился по рунам, звеня, и замер у края круга, уставившись на меня пустыми прорезями. Белый плащ на меху лёг на камень, как подстреленная птица.

Второй страж попятился, и голубой фонарь плясал у него в руке.

— Назад, — Таэлир поднял ладонь. Перстни на его пальцах вспыхнули разом, и с них сорвался свет — белый, режущий, холодный, как сама зима. Он ударил бывшего пленника в грудь, в треснувшую печать, и тот пошатнулся. Впервые.

Я видела, как на его руке, там, где кожа ещё не окрепла, разошлись трещины — глубже прежних. Кончики пальцев начали осыпаться пеплом, медленно, как песок в часах.

Он посмотрел на свою руку. Потом — на меня. На мою руку, по которой всё ещё бежала кровь.

И я поняла, что он сейчас сделает, за миг до того, как он это сделал.

Он опустился передо мной на одно колено — плавно, будто всю жизнь только этому и учился, — и взял меня за запястье. Не так, как Таэлир. Его пальцы были горячими, как камень у печи, шершавыми, и в них не было ни ласки, ни жестокости — только спокойная уверенность того, кто берёт своё. Он поднёс мою руку к губам и прижался ртом к ране.

Я забыла, как дышать.

Это было больно — и не больно. Жарко, будто в вену мне влили расплавленный мёд. Его волосы, мягкие от сухого пепла, скользнули по моей коже, и где-то на краю сознания я с изумлением отметила, что они пахнут не тленом, а дымом костра и нагретым камнем. Я чувствовала, как он пьёт — медленно, жадно, — и вместе с кровью из меня уходило что-то ещё, чему у меня не было названия. Что-то тёплое. Что-то, что я, оказывается, носила в себе всю жизнь и ни разу не замечала.

Трещины на его коже затягивались одна за другой, как разглаживаются складки на ткани под горячим утюгом. Огонь уходил вглубь, серость светлела, и осыпавшиеся пальцы снова становились пальцами.

Он оторвался от моей руки. На губах у него была моя кровь, а в чёрных глазах впервые вспыхнуло что-то, кроме гнева. Удивление.

— Вот как, — сказал он негромко. Голос стал другим: сиплость ушла, и в нём появилась бархатная тяжесть, от которой по спине у меня побежали мурашки. — Вот, значит, как.

— Она… — Таэлир не договорил. Впервые за пятнадцать лет я видела, как дрогнуло его лицо. — Не трогай её.

— Ты пятнадцать лет пускал ей кровь, как больной корове, — сказал пленник, поднимаясь, — а теперь просишь меня её не трогать? Ты всегда был трогательно непоследователен, жрец.

Он улыбнулся. Это была страшная улыбка: зубы белые, а в глазах тлеют угли.

И поднял меня с пола — одной рукой, за талию, легко, как поднимают оброненный платок.

— Отпусти! — Я рванулась, но с тем же успехом можно было вырываться из каменной стены.

— Непременно, — пообещал он. — Как-нибудь потом.

Пепел струился за ним, как шлейф королевской мантии, когда он шёл к стене зала — к той, где резьба была сбита особенно яростно. Он положил ладонь на затёртое изображение молота, и камень подался внутрь с глухим, утробным вздохом.

— Этот ход замурован! — крикнул Таэлир ему в спину.

— Я строил этот храм, — ответил пленник, не оборачиваясь. — Задолго до того, как вы развесили по нему свои серебряные побрякушки и назвали своим. Ты правда думал, что я забыл в нём хоть одну дверь?

Стена раскрылась.

Проход был узким и тёплым, как горло. Под босыми ногами хрустели песок и что-то мелкое, хрупкое — я не хотела думать, что это кости, и поэтому думала только об этом. Позади, далеко, кричали по-эльфийски, звенела сталь, голубые отсветы фонарей метались по стенам зала, но сюда, в эту темноту, не дотягивались.

Он остановился так внезапно, что я ударилась о его грудь. А потом прижал меня спиной к стене — не грубо, но так, что я не смогла бы шевельнуться, даже если бы захотела. Камень за спиной был тёплым. Он был горячее.

— Как тебя зовут, служанка?

Темнота стояла почти полная; я видела только угли его глаз, совсем близко, и чувствовала его дыхание на лице. От него пахло дымом, раскалённым камнем — и моей кровью.

— Рейна.

Короткая тишина. А потом — смешок, низкий, бархатный, почти нежный.

— Рейна, — повторил он, словно пробуя слово на вкус. — Королева. Служанку назвали королевой. Мои тюремщики всегда любили пошутить.

— Это не они меня назвали.

— Неважно. Важно, что теперь шутка моя.

Его большой палец лёг мне на горло — туда, где под кожей бился пульс, — и замер, будто считая удары.

— Слушай внимательно, Рейна, потому что дважды я не повторяю, а у тебя, — палец чуть надавил, — не так много лишней крови, чтобы тратить её на глупые вопросы. Ты пойдёшь со мной. Будешь идти, пока я не скажу «стой». Будешь молчать, пока я не спрошу. И будешь жить. Пока.

— Пока — что? — выдохнула я.

— Пока — чтобы ты шла. — Угли его глаз чуть сузились. — Видишь, я уже ответил на один глупый вопрос. Не привыкай.

Эльфийские команды звучали всё ближе. Он не обернулся. Он смотрел на меня так, словно впервые увидел что-то, что не было камнем, — и ещё не решил, нравится ли ему это.

А потом наклонился к самому моему уху, и голос его стал таким тихим, что его почти не было:

— Ну вот, маленькая служанка. Ещё один год.

Меня будто окатило ледяной водой.

Я знала этот голос. Я знала эти слова. И запах гари, и темноту, тёплую, как одеяло, которым тебя укрыли с головой.

Семь лет подряд я слышала их во сне.

Глава 2. Имя, которого нет

Кассиэль

Тысяча лет — это не время. Это камень.

Камень не спит и не бодрствует. Он помнит. И я помнил — каждое лицо, склонённое надо мной в Ночь Цепей, каждое слово заклятия, каждый удар молота, которым мне в грудь вбивали серебро. Удары я пересчитал. Сто сорок четыре. Времени выучить их наизусть у меня было предостаточно.

Теперь у меня было тело. Скверное.

Оно мёрзло. Боги не знают холода, а я успел забыть, каков он на вкус. Сквозняк, тянувший по тайному ходу, вгрызался в кожу мелкими злыми зубами. Оно болело: трещины, затянутые её кровью, ныли, как старые раны к непогоде. Оно хотело пить, есть, дышать — всё разом, капризно и требовательно, как избалованный ребёнок, и это раздражало меня сильнее эльфов.

И оно было слабым. Когда-то я мог одним словом обрушить этот храм им на головы. Теперь я поднимался по лестнице. Ступень за ступенью. Как смертный.

Девчонка шла рядом. Точнее, я её тащил, а она переставляла босые ноги по холодному камню, потому что иначе я бы её поволок. Её дыхание сбивалось на каждом пролёте, мокрый от крови подол хлопал по щиколоткам, и от неё пахло дегтярным мылом, железом и страхом — самым древним запахом на свете.

Рейна.

Мои тюремщики и впрямь любили пошутить. Веками они кормили печать кровью служанок и называли это честью. А последнюю служанку окрестили королевой. Будь у меня время, я бы поаплодировал.

Времени не было.

Я считал. Камень научил меня только этому — считать. Её крови хватило, чтобы трещины сомкнулись, но я чувствовал, как они ждут под кожей, затаившись. Как пепел копится где-то в глубине, готовый снова посыпаться. Несколько часов. Может быть, до рассвета. Потом она понадобится мне снова.

Вопрос был не в том, возьму ли я её кровь. Вопрос был в том, сколько её останется, когда мы выберемся.

Она рванула руку так резко, что я едва не вывихнул ей запястье.

— Ты, — выдохнула она в темноту. — Это был ты. Во сне.

Я не ответил. Узнала голос — хорошо. Страх делает смертных послушными, а послушание сейчас было мне нужнее благодарности. Как и зачем я приходил в её сны, ей знать не полагалось. Это было моё дело. Одно из немногих, что у меня ещё оставались.

— Иди.

— Нет. — Голос дрожал, как натянутая нить, но она не сдвинулась с места. — Сначала скажи, кто ты.

Я мог бы сломать ей руку. Это ускорило бы беседу. Но сломанная рука — это кровь, что уйдёт в рукав, а не в меня. И крик, который услышат стражи.

— У тебя странная манера благодарить за спасение, — заметил я.

— Ты меня не спас. Ты меня украл.

— Одно другому не мешает.

Она молчала, упрямая, как камень, который точит вода. Я вздохнул — тело и это умело, оказывается.

— Кассиэль.

Тишина.

Я ждал. Тысячу лет назад от этого имени армии падали на колени, как трава под косой. Матери пугали им детей. Жрецы шести народов шептали его перед битвой — кто молитвой, кто проклятием.

— Я не знаю такого имени, — сказала она.

Вот как.

Они не просто заковали меня. Они меня стёрли. Вырезали из летописей, из песен, из колыбельных и детских страшилок, выскоблили, как ошибку с пергамента. Тысячу лет мир жил так, будто меня никогда не было.

Что-то внутри — там, где прежде жила сила, — медленно и тяжело повернулось, как жёрнов.

— Узнаешь, — пообещал я и потянул её дальше. — Все узнают.

⁂

Ход вывел нас в галерею третьего яруса. Вернее, туда, где когда-то была моя галерея. Эльфы перестроили храм, как перекраивают чужое платье под себя: там, где я оставлял широкую арку, распахнутую на восход, теперь стояла глухая стена из белого камня, исписанная их рунами, мелкими и аккуратными, как вышивка старой девы. Своды, которые я ставил низкими и тяжёлыми, чтобы под ними гудел жар кузни, они подняли и украсили каменными листьями. Мои огненные фрески замазали известью и поверху расписали бледными лилиями. Я шёл по собственному дому, как по чужому, и ненавидел их за это почти так же, как за цепи.

Стражей было двое. Они вылетели из-за поворота, и голубые фонари качались у них в руках, бросая на стены мертвенные блики. Светлые доспехи, гребни на шлемах, копья наперевес. Молодые — я понял это по тому, как они держали оружие: слишком высоко, слишком напряжённо, будто копьё было змеёй, которая может укусить хозяина.

Я толкнул Рейну за спину, к стене.

Первый ударил — я ушёл в сторону, перехватил его копьё и развернул остриём ко второму. Чисто, под рёбра, туда, где эльфийская сталь расходится на сочленении. Смертное тело было медленным, но память в нём жила моя. Первый успел полоснуть меня по предплечью мечом, прежде чем я свернул ему шею.

Крови не было.

Из пореза посыпался пепел — серый, тёплый, как из остывающего очага. Края раны разошлись трещинами, и в трещинах вспыхнул огонь.

Я услышал, как Рейна втянула воздух.

Я обернулся. Она стояла, вжавшись в белую стену, и прижимала к груди изрезанную руку. Платье спереди было бурым от крови — её собственной. Она смотрела на мой порез. Потом на меня. И поняла. Я видел, как именно: зрачки распахнулись во всю радужку, пальцы сжались на запястье, словно его можно было спрятать.

Умная. Это было неудобно.

Я шагнул к ней. Она не побежала — бежать было некуда, — только вскинула подбородок. Губы у неё побелели, но взгляд не дрогнул.

— Даже не думай, — сказала она тихо.

— Я думаю об этом с той минуты, как попробовал, — ответил я честно. — Привыкай.

Пепел сыпался из моей руки на мраморный пол, ложился серой дорожкой.

Я остановился.

— Не сейчас. — Скорее себе, чем ей. — Если я стану пить из тебя после каждой царапины, ты не доживёшь до утра. А ты мне нужна живой. Ещё какое-то время.

Её лицо изменилось. Страх никуда не делся, но поверх него легло что-то новое. Холодное, как иней на слюде. Она поняла и это: я берегу её не из жалости. Я её экономлю, как путник в пустыне экономит воду.

Хорошо. Пусть понимает. Так будет проще нам обоим.

Я сорвал с мёртвого стража плащ — белую эльфийскую шерсть, подбитую серебристым мехом, ещё хранившую чужое тепло, — и бросил ей.

— Надень.

— Зачем тебе…

— Мёртвая ты мне бесполезна. А замёрзшая — почти мёртвая.

— Как трогательно.

— Не обольщайся. Я так же забочусь о своём мече.

Она надела. Руки у неё тряслись так, что серебряная застёжка поддалась лишь с третьего раза. Я не стал помогать.

⁂

Внешняя стена храма обрывалась в пустоту.

Я помнил это место. Когда-то здесь была смотровая площадка, открытая всем ветрам, и я стоял на ней в доспехах цвета углей, глядя, как внизу, в долине, собираются мои войска — огни их костров тянулись до самого горизонта, как река расплавленной меди. Теперь внизу лежал Илларин. Белый эльфийский город, разложенный по склонам ровными террасами, с тонкими башнями, похожими на сосульки, с мостами-кружевами над замёрзшими каналами. Руны на его стенах тлели серебром, и весь он сиял в ночи холодно и бесстрастно, как драгоценность в витрине. А за городом начиналась тьма: лес, чёрные гребни гор, и где-то далеко на востоке, за ними, — земли, которые когда-то принадлежали мне.

Шёл снег — крупный, медленный, торжественный. Ночь Долгой Тьмы, самая длинная ночь в году. Эльфы выбрали её для обновления печати не случайно: в эту ночь я всегда был слабее всего.

В эту ночь я и вышел. Мне нравилась ирония.

Внизу, у городских ворот, протрубил рог — чисто, высоко, как вскрик. Створки разошлись, и из них вылетели всадники — с десяток, на белых тонконогих конях, с серебряными огнями на остриях копий. Плащи развевались за ними, как крылья. Впереди скакал один без шлема. Светлые волосы, заплетённые в боевую косу, доспех, чеканенный серебряными ветвями, прямая, как клинок, спина — и лицо, которое я узнал бы и через десять тысяч лет.

У него было лицо его деда. Его деда я убил.

— Эларион, — прошептала Рейна у меня за плечом. — Принц Эларион. Он никогда… Он не выезжает на охоту за беглыми слугами.

— Он охотится не за слугой.

— За тобой?

— За нами, королева. Привыкай к множественному числу.

Она посмотрела на меня. Я на неё не смотрел. Я смотрел вниз, в обрыв. Отвесный камень, потом крутой склон, укрытый снегом, как простынёй, потом лес — чёрная щетина сосен.

— Нет, — сказала она, проследив за моим взглядом. — Нет, нет, нет, ты же не…

Я поднял её на руки. Она весила не больше охапки хвороста. Вцепилась мне в плечи так, что ногти пробили кожу, и из-под ногтей посыпался пепел.

— Ты сумасшедший!

— Я бог. Со стороны разница невелика. — Я перехватил её удобнее. — Держись, моя королева.

И шагнул вниз.

⁂

Смертное тело очень хрупкое. Я понял это, когда ударился о склон.

Я принял удар на себя — спиной, плечами, ногами. Не из благородства: сломай она шею, я рассыпался бы следом. Мы катились вниз сквозь снег, камни и хрустящие ветки, мир переворачивался снова и снова — небо, снег, небо, — и я чувствовал, как трескаюсь. Не кожа — всё тело, насквозь, как глиняный кувшин, оброненный на каменный пол.

Мы остановились у подножия, в сугробе между соснами. Здесь пахло смолой и снегом, и было так тихо, что я слышал, как оседают на ветки снежинки.

Я попытался встать — и не смог. Ноги не слушались. Сквозь трещины на коленях сочился огонь, и снег вокруг таял и шипел, поднимаясь паром. Левая рука осыпалась до запястья. Пальцев не было — лишь горстка серой пыли на белом.

Рейна выбралась из сугроба. Исцарапанная, облепленная снегом, с безумными глазами, с волосами, полными сосновых игл, — но целая.

Она могла бежать.

Я понимал это так же ясно, как она. Лес — вот он. Всадникам ещё спускаться в обход, по серпантину. Я не смогу её догнать — я и встать не смогу. Через час, а может быть раньше, от меня останется горстка пепла под соснами, и снег заметёт её к утру, как заметает всё.

Она смотрела на меня. Я смотрел на неё и молчал. Просить я не умел. Боги не просят.

Она сделала шаг назад. Потом ещё один. Снег скрипнул под босой ступнёй.

Потом остановилась.

Я видел, как она думает. Смертные думают лицом — всё у них написано на лбу, как на вывеске. Она смотрела в сторону города, где за стволами мелькали серебряные огни. Смотрела на свою изрезанную руку. Я знал, о чём она вспомнила. О слове, которое Таэлир бросил над алтарём.

«Всю».

Она вернулась. Опустилась на колени в снег рядом со мной и протянула руку. Порез на предплечье ещё сочился, и капли падали на снег, прожигая в нём крошечные алые колодцы.

— Я делаю это не ради тебя, — сказала она. Зубы у неё стучали, но голос был ровным. — Эльфы меня убьют. Ты — пока нет.

— Пока, — согласился я.

— Вот видишь. Ты хотя бы честный. Это уже больше, чем я видела за пятнадцать лет.

— Не путай честность с ленью. Мне просто незачем тебе лгать.

— Пока, — вернула она мне моё же слово. И не убрала руку, но и не поднесла ближе. — И ещё. Ты расскажешь мне, что делал в моих снах. Всё. Это моя цена.

Торговаться со мной. На коленях в снегу, перед богом, который рассыпается у неё на глазах. Смертная служанка, у которой нет ничего, кроме крови и чужого плаща.

Прежде я убил бы её за такую дерзость. Сегодня мне отчего-то захотелось рассмеяться.

— Договорились, — сказал я.

Она поднесла руку к моим губам.

Жар её крови ударил в меня, как вино, как огонь, как первый глоток воздуха для того, кто слишком долго пробыл под водой. Трещины на коленях стянулись. На руке из пепла, словно из тумана, проступили пальцы — сначала тени, потом кости, потом плоть. Я пил и чувствовал не только кровь. Под ней, глубже, билось что-то ещё. Свет. Тонкий, горячий, древний — такой же древний, как я сам.

Я почувствовал его ещё в храме. Теперь я был уверен.

Таэлир знал. Эльфы искали таких, как она, нашли и спрятали в своём храме, среди служанок с красными от щёлока руками, отмывающих подсвечники. Спрятали на самом видном месте — как прячут бриллиант в куче битого стекла. И ни разу не сказали ей правды.

Она думала, что торгуется со мной кровью.

Она понятия не имела, что течёт у неё в венах на самом деле.

Я знал. И говорить ей не собирался.

Глава 3. Святилище

Рейна

Я никогда не бывала за стенами храма ночью.

Днём — случалось. С Мэйв на рынок в нижний город, за воском и щёлоком, под присмотром стража, который смотрел сквозь нас, как сквозь оконное стекло. Мы шли по мостовой из светлого камня мимо лавок с резными ставнями, мимо фонтанов, где вода замерзала узорами, мимо эльфийских дам в мехах цвета сливок, и Мэйв всякий раз шептала мне на ухо, сколько мешков муки можно купить за одну их шубу. Ночью — никогда. И уж точно никогда — в лесу.

Лес оказался громким. Я думала, что ночь — это тишина, а ночь шумела, как кухня перед праздником. Скрипели сосны, тяжело, по-стариковски. Кто-то ухал в ветвях. Снег соскальзывал с лап с мягким шорохом. Под ногами хрустел наст. А за всем этим, далеко позади, пел рог — каждые несколько минут. Ближе. Потом дальше. Потом снова ближе. Охотники с нами играли.

Кассиэль шёл впереди и ни разу не обернулся.

После моей крови он двигался легко, почти лениво, словно не он час назад лежал в сугробе без ног и без пальцев. Сапоги и рубаху он снял с мёртвого стража ещё в храме — когда, я не заметила. Эльфийская одежда сидела на нём, как чужая кожа: белая рубаха с вышитым серебром воротом трещала на плечах, рукава не доставали до запястий, а сапоги из мягкой серой замши были ему явно тесны. Её шили на кого-то другого. На кого-то, кто уже не нуждался в одежде.

Снег под ним таял. Каждый его шаг оставлял чёрную проталину с оплавленными, блестящими, как стекло, краями. По таким следам нас нашёл бы и слепой.

А я падала.

Сначала просто спотыкалась. Потом мир поплыл по краям, как отражение в потревоженной воде, сосны качнулись, и я очнулась лицом в снегу, не понимая, как туда попала. Снег набился в рот, в ворот плаща, таял на шее. Два пореза, два раза он пил мою кровь — и тело предъявило счёт.

Надо мной возникли сапоги. Потом — его лицо. Раздражённое, как у всадника, у которого посреди дороги охромела лошадь.

— Вставай.

— Сейчас, — пообещала я снегу. — Только полежу немного. Здесь мягко.

— Здесь ты умрёшь.

— Тебе-то что? Ты же… экономишь.

Он помолчал. Потом нагнулся и поднял меня, не сказав больше ни слова. Мне хотелось вырваться. Мне хотелось его ударить. Но от него шло тепло — сухое, сильное, как от раскалённой печной стенки, — а я так замёрзла, что перестала чувствовать ноги. И я прижалась к этому теплу щекой, ненавидя себя за каждый миг.

Он пошёл по ручью. Прямо по воде, по колено, и вода вокруг него шипела и клубилась паром, будто в неё опускали железо из горна. Тёмная, быстрая, она бежала меж обледенелых камней, и в ней отражались звёзды, которые разбивались о его колени. Он шёл долго, пока ручей не свернул в скалы, и там выбрался на голый камень, где не было снега.

Следы обрывались у воды.

⁂

Пещера оказалась не пещерой.

Когда мои глаза привыкли к темноте, я разглядела ступени, вырубленные прямо в скале и стёртые посередине, как лестница в нижний зал. Обломки колонн, толстых и тяжёлых, совсем

не эльфийских, — на одной ещё угадывалась резьба: языки пламени, обвивающие ствол. Каменную чашу для огня на трёх приземистых ножках, полную старых бурых листьев, нанесённых ветром за многие годы. Своды были низкими и закопчёнными, словно здесь когда-то горел огонь, которому не давали гаснуть. А в глубине, у задней стены, — статую.

Воин в доспехах, выше человеческого роста, с опущенным мечом, остриём упёртым в пол. Каменный плащ ниспадал с его плеч тяжёлыми складками, на нагруднике проступал молот, обвитый пламенем, — тот самый, что я видела на стенах у лестницы в нижний зал. Лица у него не было. Его стесали — аккуратно, тщательно, до гладкого камня. На постаменте когда-то была надпись. От неё остались только глубокие борозды, словно буквы выскабливали долго и со злостью.

Кассиэль поставил меня на ноги и подошёл к статуе. Долго стоял перед ней молча — так стоят у могилы, на которую никто, кроме тебя, не приходит. Потом положил ладонь ей на грудь. Туда же, где у него самого так долго сияла печать.

— Кто это? — спросила я, хотя уже знала.

— Никто, — сказал он. — Теперь никто.

Он убрал руку, подошёл к чаше и щёлкнул пальцами над сухими листьями. Листья вспыхнули. Не затлели — вспыхнули разом, сильно, ровным оранжевым пламенем, в глубине которого мерцали алые искры. Такие же, как в трещинах на его коже. По сводам заплясали тени, и обломки колонн будто ожили, зашевелились, вспомнили, какими были.

Он посмотрел на свою руку с выражением, которого я у него ещё не видела. Почти удивление. Почти радость. Потом сжал пальцы в кулак — и всё исчезло.

Я опустилась у огня. Пальцы не сгибались, как деревянные. Босые ступни, все в царапинах и крошечных порезах от наста, сперва ничего не чувствовали, а потом, отогреваясь, заныли так, что я закусила губу до крови.

— Ты обещал, — сказала я, когда смогла говорить. — Сны.

Он сел по ту сторону огня, спиной к безликой статуе. В отсветах пламени они были похожи — статуя и он: та же посадка головы, те же широкие плечи. Только у него лицо было.

— Камень не спит, — сказал он. — Но иногда видит сны. Тысячу лет я смотрел в темноту. Темнота — плохой собеседник, королева: она не спорит, не лжёт и не меняется. А раз в год в ней появлялась ты. Твоя кровь на печати — как свеча в окне. Я шёл на свет.

— И всё?

— И всё.

Он сказал это слишком гладко. Так говорила Мэйв, когда разбивала кувшин и клялась старшей прислуге, что тот прыгнул с полки сам. Каждое слово — правда. А всё вместе — ложь.

— Ты врёшь красиво, — сказала я. — Но врёшь.

— Я сказал правду.

— Ты сказал кусочек правды. Это как дать голодному понюхать хлеб.

Он посмотрел на меня поверх огня — долго и внимательно.

— Ешь то, что дают, служанка. Другого сегодня не будет.

Доказать я ничего не могла. И спорить с богом у костра в забытом святилище сил у меня не осталось.

⁂

Огонь грел плохо. Вернее, он грел только ту сторону, которой я к нему поворачивалась, и я вертелась, как курица на вертеле: лицо пылало, а спина леденела. Из входа тянуло таким стылым холодом, что зубы выбивали дробь сами собой.

— Ложись сюда, — сказал Кассиэль.

Я подняла голову. Он сидел, привалившись к стене, вытянув длинные ноги, и кивнул на место рядом с собой.

— Нет.

— Не льсти себе. — В голосе не было ни насмешки, ни интереса. Одна скука. — Если ты замёрзнешь насмерть, я рассыплюсь к полудню. Это всё, что меня в тебе занимает.

— Как романтично.

— Я не знаю этого слова.

— Оно означает, что ты свинья.

— Тогда я знаю его очень хорошо.

Я смотрела на него долго. Потом на вход, за которым выл ветер. Потом на свои пальцы — синие, чужие.

И легла.

Рядом, но не вплотную. Между нами оставалась ширина ладони — моя последняя граница, последняя крепость. Но и этого хватило. Жар от него шёл, как от натопленной каменки в бане, и через несколько минут я перестала дрожать. Плащ стражника пах чужим потом и мехом, камень под щекой — пылью и старым дымом.

В темноте трещины на его коже светились. Слабо, как угли под слоем золы. Тонкие огненные линии бежали по шее, по скуле, по краю челюсти, прятались в чёрных волосах, рассыпанных по плечам. Я лежала и смотрела на них, потому что смотреть было больше не на что. И понимала одну ужасную вещь.

Он был красив. Так, как красив пожар — издали, с другого берега реки. И я ненавидела себя за то, что это замечаю.

У него билось сердце. Я слышала его в тишине — медленное, тяжёлое, как далёкий барабан где-то под землёй. Реже, чем у человека. Намного реже. Будто каждому удару нужно было время подумать.

Я думала о Мэйв. О том, что она сидит сейчас в нашей каморке, кутается в свою дырявую шаль и не знает, жива ли я. О вине, которое она припрятала. О том, что воск для подсвечников так и не принесли с рынка и старшая прислуга завтра будет браниться. О глупостях. О чём угодно, кроме сердца, которое билось в ладони от меня.

И уснула.

Проснулась я оттого, что мне было тепло.

Не так, как у огня, — с одной стороны. Тепло было со всех сторон сразу: под щекой, под ладонью, на спине, где лежало что-то тяжёлое. Я не сразу поняла, что это рука. Его рука.

Ширины ладони между нами больше не было. Во сне я сама переползла через свою последнюю крепость и сдала её без боя: лежала, уткнувшись лицом ему в грудь, вцепившись пальцами в ворот чужой эльфийской рубахи, а его ладонь лежала у меня между лопаток — неподвижно, широко, как кладут руку на то, что считают своим.

Я замерла. Надо было отодвинуться. Немедленно, пока он спит, пока никто не видел, как служанка Храма Печатей греется на груди у заключённого бога, как кошка на печной лежанке. Я велела себе отодвинуться. Тело не послушалось.

Оно было занято. Оно слушало.

Рубаха под моей щекой пахла чужим: мылом, которым эльфы стирают бельё, и мёртвым стражником. А под рубахой пахло им: дымом, горячим камнем и чем-то горьковатым, как обугленная кора. Этот запах забирался в горло, и мне хотелось дышать глубже, чтобы запомнить, — и было стыдно этого хотеть.

Трещина на его шее светилась у самого моего лица. Если бы я подняла голову на волос, я коснулась бы её губами. Я не подняла. Но думала об этом так долго, что у меня запылали уши.

— Граница, — сказал он в темноте.

Я вздрогнула всем телом. Он не спал. Он не спал и, наверное, всё это время знал, что я не сплю тоже.

— Что?

— Ширина ладони. — Голос был низким, сонным и совсем не насмешливым. — Ты сама её провела. Ты же её и перешла. Я не двигался.

— Мне было холодно.

— Знаю. Ты дрожала и звала какую-то Мэйв. А потом перестала звать и пришла сюда.

Я должна была сказать что-то колючее. Что он свинья. Что я лучше замёрзну. Что мне противно. Слова были на месте, я чувствовала их на языке, острые и готовые. И ни одно не вышло наружу.

— Ты можешь убрать руку, — сказала я вместо этого.

Он не убрал. Только пальцы чуть шевельнулись у меня на спине — один раз, едва-едва, будто он хотел запомнить, как выступают у меня лопатки, — и снова замерли. И от этого почти неощутимого движения по позвоночнику прокатилась волна такого жара, что я забыла, что такое холод.

— Спи, служанка, — сказал он. — Мне нужна тёплая кровь, а не твоя гордость. Гордость тебе вернут утром.

Я лежала, не шевелясь, и слушала его сердце. Вечером оно билось медленно, будто каждому удару нужно было подумать. Сейчас удары шли чаще. Ненамного. Но я пятнадцать лет считала ступени нижнего зала — считать я умела.

Они больше не думали.

Я не знала, что это значит. Я не знала, хочу ли знать. Я закрыла глаза, вдохнула запах дыма и горячего камня и сказала себе, что утром снова проведу границу. Шире. Две ладони. Три.

И уснула снова.

⁂

Меня разбудила тишина.

Ветер стих. Сосны не скрипели. Даже костёр притих, прогорев до красных, подёрнутых пеплом углей. Кассиэль больше не лежал рядом. Он стоял у входа, тёмный против серого снега, и вся его фигура была напряжена, как у зверя, который почуял чужого.

А потом из леса донёсся вой.

Не волчий. Волков я слышала с храмовой стены — их голоса были тоскливыми, живыми, почти жалобными. Этот вой был чистым и холодным, как звон серебряного колокольчика над покойником, и от него у меня заложило уши и заныли зубы.

— Гончие, — сказал Кассиэль, не оборачиваясь. — Он привёл гончих. Как мило с его стороны. Я уж боялся, что заскучаю.

Из темноты меж сосен вышла собака. Вернее, то, что было похоже на собаку: длинноногий, узкомордый силуэт из серебряного света, сквозь который просвечивали стволы и снег. Таким же светом горели руны на полу нижнего зала. Глаз у неё не было — только две тёмные впадины, похожие на проруби во льду. За ней вышла вторая. Третья.

Первая прыгнула без звука.

Кассиэль поймал её в воздухе за горло — и зашипел сквозь зубы. Серебро жгло его. Из-под пальцев повалил чёрный дым, запахло палёным, кожа на ладонях лопнула трещинами, и в трещинах полыхнуло. Но он не разжал рук. Он сжимал, пока свет не треснул, как лёд под каблуком, и гончая не рассыпалась серебряной пылью, медленно оседающей в снег.

Две другие не прыгнули. Они легли у кромки деревьев, вытянув перед собой светящиеся лапы, и смотрели на вход. Не нападали. Сторожили.

И тогда зазвучал голос.

Он шёл отовсюду сразу — из темноты, из снега, из самого воздуха, будто говорил лес. Спокойный, чистый, звонкий, как у тех, кто никогда в жизни не повышал тона, потому что им этого не требовалось.

«Рейна».

Я перестала дышать. Принц Эларион знал моё имя. Принц, который за все эти годы ни разу не взглянул на меня в храмовых коридорах — я была для него частью стены, как подсвечник или ковёр.

«Я знаю, что ты меня слышишь. Ты ни в чём не виновата. Он забрал тебя силой. Выйди — и я отвезу тебя домой».

Домой. В каморку под лестницей. К инею на слюде. К подсвечникам. К Таэлиру и его ножу.

Пауза. А потом голос стал мягче. Почти ласковым — как бархат, под которым спрятан клинок.

«А если не выйдешь… Твоя подруга Мэйв уже у верховного жреца. Он очень хочет узнать, о чём вы шептались по ночам. И он, как ты знаешь, не слишком терпелив».

Я вскочила.

Рука Кассиэля сомкнулась на моём запястье раньше, чем я успела сделать шаг. Ладонь у него была обожжена серебром до мяса и всё ещё дымилась.

— Он лжёт, — сказал он тихо.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я сказал бы то же самое.

— Это не утешает.

— Я и не утешаю. Я объясняю.

Я посмотрела на выход, на серебряный свет между стволами. Потом — на бога, который держал меня за руку обожжённой, дымящейся ладонью и не отпускал.

Один из них лгал.

А может быть, оба.

Глава 4. Статуя без лица

Кассиэль

Принц лгал наполовину. Это самая опасная ложь: в ней, как в отравленном вине, есть настоящий виноград.

Подруга девчонки, скорее всего, и правда сидела сейчас у Таэлира. Я знал таких, как Таэлир, — знал в прежние времена и не сомневался, что порода не измельчала. Когда из клетки уходит зверь, они не бегут за зверем. Они допрашивают сторожа. Неспешно, вежливо, при свечах, с чашей подогретого вина на столе — и с ножом рядом.

А вот «домой» было ложью от первого до последнего звука. Никакого дома у неё больше не было. Выйди она к принцу — её отвезут в тот же круглый зал, уложат на тот же тёплый камень и выпустят всё до последней капли. Новой печати нужно много крови. А зверя потом можно и не ловить: без неё он сам ляжет в снег горсткой пепла и дождётся весны.

Неплохой план. Изящный. Я бы и сам так сделал.

Девчонка стояла рядом, и я чувствовал, как бьётся пульс в её запястье под моими пальцами — часто, мелко, как сердце пойманной птицы. Не от холода. От того, что она решала.

Этой ночью она спала у меня на груди. Сама перебралась через свою смешную границу «в ширину ладони» — во сне, не зная, что делает, — и уткнулась лбом мне в ключицу, как замёрзший зверёк в тёплый бок. Я не спал. Смертному телу нужен сон, но тысячу лет я провёл без него и разучился. Я считал её вдохи. Сто сорок — пока она не перестала дрожать. Потом сбился и начал снова.

Её волосы пахли свечным воском и снегом, а под ними — чем-то тёплым, хлебным, человеческим, тем, чего не бывает у богов. Я положил ладонь ей между лопаток — чтобы не скатилась на холодный камень, сказал я себе, — и почувствовал, как под ладонью бьётся её сердце. Ровно. Доверчиво. Так не бьётся сердце рядом с тем, кого боишься.

Когда она проснулась и сказала «граница», я мог убрать руку. Я не убрал. Это была ошибка, я знал, что это ошибка, и повторил бы её снова.

Тело, сказал я себе. Смертное, слабое, глупое тело, которое тянется к теплу, как росток к свету. Вот и всё. Ничего больше.

Сейчас её пульс бился под моими пальцами так же часто, как ночью под моей ладонью. Только теперь — от страха. И мне это не нравилось сильнее, чем следовало.

Я мог удержать её силой. Это было бы проще всего. Но силой я мог взять только кровь. То, что лежало глубже, — свет под кровью, — силой не берут. Это знал каждый бог, даже самый глупый. Искру нельзя отнять. Её можно только получить — из рук в руки, как дар.

Значит, она должна выбрать меня сама.

Я разжал пальцы.

Она удивлённо посмотрела на свою свободную руку — так смотрят на птицу, которая вдруг не улетела из открытой клетки. Потом на меня.

— Иди, если хочешь, — сказал я. — Только сначала посчитай. Ты ведь умеешь считать — до трёхсот двенадцати, я слышал. Ты выходишь. Тебя сажают на белого коня, укутывают в меха, говорят ласковые слова. Везут в храм. Ведут вниз по лестнице. Таэлир достаёт нож. И следующий порез будет уже не на ладони. И не на руке.

Она побелела, как снег за порогом. Хорошо. Пусть помнит нож.

— А Мэйв? — Голос у неё сорвался. — Если они действительно…

— Мёртвая ты её не спасёшь. Живая — можешь.

— Как?

Вот оно. Вопрос, ради которого стоило разжимать пальцы.

— Сейчас я слаб, — сказал я. И это была правда, а правда, сказанная в нужный миг, действует вернее любой лжи. — Но я не буду слаб вечно. На востоке есть то, что принадлежит мне. Когда я верну себе хоть часть силы, я войду в храм через парадные двери и заберу твою подругу. Вместе с её лентой.

Она вздрогнула — откуда я знаю про ленту? — но не спросила.

— Ты их всех убьёшь.

— Не всех. Кто-то должен будет рассказывать об этом детям.

Она смотрела на меня долго. Я видел, как она взвешивает на невидимых весах: меня — и нож Таэлира. Бога, который лжёт, — и принца, который лжёт красивее.

— Я иду с тобой, — сказала она наконец. — Ради Мэйв. Не ради тебя.

— Не помню, чтобы я просил тебя делать что-то ради меня.

— И не попросишь. Боги ведь не просят?

Она угадала мои мысли. Ради Мэйв. Не ради меня. Я получил ровно то, чего добивался. И это раздражало меня сильнее, чем если бы она плюнула мне в лицо.

⁂

Гончих стало пять. За ними, меж стволов, плыли серебряные огни на копьях, и в их свете снег казался голубым, как кожа утопленника. Всадники вставали полукругом перед входом в моё святилище. Неторопливо. Аккуратно. Как загонщики вокруг берлоги, где спит медведь.

У святилища был второй выход. Я сам велел прорубить его, когда мои жрецы ещё носили сюда дары — мечи, выкованные в первую оттепель, слитки меди, хлеб, испечённый на углях. Узкая расселина за статуей уходила сквозь скалу на другую сторону хребта. За столько веков её могло завалить. А могло и нет.

Добраться до неё мы успеем. Но гончие войдут следом и настигнут нас в тесноте, где с ними не развернёшься и не размахнёшься.

Нужно было ослепить их. Всех разом.

Для этого нужна была сила. А для силы — она.

Я повернулся к Рейне. Она поняла раньше, чем я открыл рот. Она вообще слишком быстро училась читать моё лицо — как книгу на чужом языке, в которой вдруг начинаешь угадывать слова.

— Сколько? — спросила она.

— Больше, чем в прошлый раз.

— Ты всегда так говоришь?

— Всегда. И каждый раз это правда.

Она закатала рукав плаща. Порез на предплечье успел затянуться тёмной коркой, похожей на сургуч на письме. Она посмотрела на него, потом на меня — и сама протянула руку.

Я вскрыл корку ногтем. Она не вскрикнула. Только сжала зубы так, что на скулах обозначились желваки, и уставилась поверх моей головы на безликого воина, будто искала у него защиты.

Я пил дольше, чем следовало. Знал это — и не останавливался. Во мне поднималось то, чего я не чувствовал со дня, когда на меня надели цепи: не сила ещё — её тень, её эхо, далёкий гул прибоя в раковине. Но даже тень моей силы была больше всего, что могли выставить против меня эти серебряные собаки.

Её пальцы вцепились в мой рукав. Разжались. Снова вцепились — слабее.

Её запах ударил мне в голову сильнее крови — так близко я к ней ещё не был. Тепло кожи под губами. Тонкая жилка, бьющаяся о мой язык, как пленная птица о прутья. Её дыхание сбилось — короткое, рваное, — и в нём, кроме боли, было что-то ещё. Я услышал это и не поверил.

Я поднял глаза. Она смотрела уже не на статую. На меня. Губы приоткрыты, на щеках румянец, которого не бывает у того, кто теряет кровь. Моя ладонь лежала у неё на пояснице

— я не помнил, когда её туда положил, — и я чувствовал, как под ней выгибается её спина. Не прочь от меня. Ко мне.

Она сама этого не заметила. Я заметил. И это было опаснее любого серебра.

Я оторвался.

Она покачнулась. Глаза стали тёмными и стеклянными, как вода в колодце, губы посерели. Но она устояла. Устояла — и посмотрела на меня с такой ненавистью, что я едва не рассмеялся.

— Чудовище, — сказала она одними губами.

— Наконец-то хоть кто-то зовёт меня по имени.

Так на меня никто не смотрел. На меня вообще никто не смотрел.

⁂

Я вышел из святилища один.

Гончие вскочили. Пять серебряных силуэтов, пять беззвучных оскалов, пять пар пустых глазниц. За ними поднялись копья, и огни на их остриях дрогнули, словно испугались раньше всадников.

И посередине полукруга, на белом коне, — он.

Вблизи он ещё сильнее походил на деда. Та же высокая линия скул. Те же светлые, почти белые брови вразлёт. Боевая коса, перевитая серебряной нитью, лежала на плече, доспех из светлой стали был чеканен ветвями и листьями так тонко, что казался изморозью на стекле. Под доспехом — синий, как зимние сумерки, камзол. И то же холодное любопытство в светлых глазах: так смотрят на редкого зверя, которого сейчас придётся убить, и немного жаль шкуру. Дед смотрел на меня точно так же. За миг до того, как мой меч вошёл ему под рёбра.

— Кассиэль, — сказал Эларион.

Любопытно. Он знал моё имя. Значит, стирали его только для других.

— Мой дед должен был убить тебя, а не сажать на цепь, — продолжил он. Голос был ровным, как лёд на озере. — Я исправлю его ошибку.

— Твой дед тоже так говорил, — ответил я. — Слово в слово. Даже интонация та же. Вас что, учат по одной книге?

Его лицо не дрогнуло. Хорошая выдержка. Лучше, чем у деда. Тот хотя бы краснел.

— Где она?

— Рядом со мной. Где ей и место.

— Её место — в храме.

— На камне, ты хотел сказать. Под ножом. Не стесняйся, принц, тут все свои.

Вот тут что-то в нём мелькнуло. Едва заметно, в уголках губ, как трещина на гладком льду. Я не сразу понял, что это. Потом понял — и мне это очень не понравилось.

Принц Эларион приехал не только за мной.

— Рейна! — крикнул он поверх моего плеча, в темноту святилища, и голос его зазвенел. — Ты даже не знаешь, что он с тебя берёт! Ты — Иск…

Я не дал ему договорить.

Я развёл руки — и снег вокруг стал пеплом.

Весь снег. На поляне, на ветвях, на плечах всадников, в самом воздухе. Он посерел и поднялся с земли, как дым над пожарищем. Серая стена, густая и горячая, с рёвом разошлась по лесу, и сосны застонали под её тяжестью. В ней метались искры — тысячи, тьмы.

Серебро погасло.

Гончие заскулили — тонко, мерзко, как стекло по стеклу, — и одна за другой растаяли в серой мгле. Кони взвились на дыбы, сбрасывая седоков. Кто-то кричал, кто-то заходился кашлем. Светлые волосы принца стали серыми, как у старика, и его синий камзол — тоже.

Мне понравилось. Я задержался на миг, чтобы запомнить, — и вернулся в святилище.

Рейна стояла у статуи, держась за каменный рукав безликого воина, чтобы не упасть. Её трясло. Она слышала крик принца — я видел это по её глазам, расширенным, как у ночной птицы.

— Что он хотел сказать? — спросила она. — «Ты — иск…» Что?

— Искушение, — сказал я. — Эльфы обожают красивые слова. Особенно когда им нечего сказать по существу.

— Ты лжёшь.

— Возможно. Хочешь остаться и уточнить у него?

Она не поверила. Я и не рассчитывал. Но спорить у неё не было сил, а у меня — времени.

Я подхватил её на руки и шагнул в расселину за статуей. Камень сомкнулся вокруг, холодный и влажный. Проход был цел. Столько веков — и цел. Хоть что-то в этом мире меня дождалось.

За спиной, сквозь рёв пепельной бури, снова донёсся его голос. Уже не ровный. Сорванный, злой, почти человеческий:

— Рейна! Спроси его, почему печать треснула именно в этом году! Спроси, как долго он к этому готовился!

Она замерла у меня на руках. Перестала даже дышать.

Я не остановился. И не ответил.

Она не спросила.

Пока.

Глава 5. Пепельный

Рейна

Рассвет я встретила у него на руках. И возненавидела себя за то, что не могу идти сама.

Расселина вывела нас на другую сторону хребта, и мир за ней оказался другим. Лес здесь рос ниже и корявее, согнутый ветром: кривые берёзы с чёрными подпалинами на коре, можжевельник, низкие ели в бородах серого лишайника. Ни одной белой эльфийской тропы, ни одного серебряного указателя. Снега меньше — он лежал пятнами, рыхлый, серый, и меж пятен проглядывала бурая прошлогодняя трава. Небо на востоке медленно наливалось розовым, как разбавленное вином молоко. А внизу, в долине, поднимался дым. Не серый и горячий, как вчера, а сизый, ленивый, печной. Дым деревни. Дым, под которым кто-то варит кашу.

Кассиэль остановился на краю склона и долго смотрел на этот дым. Потом поставил меня на ноги, не слишком бережно, как ставят на землю мешок.

— Ты ешь, — сказал он. Не спросил — сообщил, будто только что вспомнил забытое правило чужой игры.

— Обычно да.

— Когда в последний раз?

Я задумалась. В день ритуала служанке есть не положено — кровь должна быть чистой. Значит, вчера на рассвете: ломоть серого хлеба и кружка воды.

Он нахмурился, как мастер, обнаруживший, что забыл смазать любимый инструмент и тот начал ржаветь.

— Смертные. Вы вечно хотите есть, пить, спать, вы мёрзнете, болеете, стареете. Как вы вообще умудрились дожить до этого дня?

— Как-то справлялись, — сказала я. — Тысячу лет. Без богов.

Он посмотрел на меня. На миг мне показалось, что сейчас он ударит, — что-то полыхнуло в чёрной глубине его глаз. Но он только отвернулся и пошёл вниз, к дыму, и пепел с его плеч летел за ним по ветру.

— Это была шутка, — сказала я ему в спину.

— Я знаю. Потому ты ещё жива.

⁂

Деревня называлась Верхний Брод. Два десятка приземистых домов под соломенными крышами, похожими на нахохленных куриц, частокол из почерневших брёвен, утоптанная площадь с колодцем-журавлём и каменный столб посередине, на котором серебром был выбит знак Илларина — восьмилучевая звезда в круге. Над столбом висела железная клетка, пустая, ржавая, тихонько поскрипывающая на ветру. Здесь жили люди, которые платили эльфам дань зерном, мехом и дочерьми. Именно из таких деревень в храм привозили новых служанок — в крытых телегах, по шесть девочек в каждой, с соломой на дне.

Меня тоже когда-то привезли из такой. Я не помнила ни её названия, ни лица матери. Только запах сена и чью-то руку, которая разжалась.

На окраине, у покосившегося сарая, мы остановились. При дневном свете, напитанный моей кровью, Кассиэль выглядел почти как человек. Трещины на его коже потускнели и стали похожи на старые шрамы — паутину белёсых рубцов. Высокий, слишком высокий для здешних мест, в тесной эльфийской рубахе, с чёрными волосами до лопаток, растрёпанными ветром. Почти человек. Если не смотреть в глаза.

— Я пойду первой, — сказала я.

— Нет.

— Да. — Я сама удивилась, как твёрдо это прозвучало. — Ты не умеешь разговаривать с людьми. Ты умеешь их убивать. А нам нужны еда, сапоги и чтобы никто не побежал доносить эльфам раньше, чем мы уедем.

— Я умею разговаривать с людьми.

— Ты разговариваешь с ними так, будто они уже мертвы и просто ещё не заметили.

Он смотрел на меня с непонятным выражением — так смотрят на собаку, которая вдруг заговорила человеческим голосом. Потом чуть склонил голову. Не согласился — позволил.

Я отстегнула с плаща серебряную застёжку — тонкую эльфийскую работу, лист плюща с прожилками, тёплый от моего тела. В нижнем городе за неё дали бы мешок муки. Здесь, я надеялась, хватит на сапоги и хлеб.

⁂

Трактир в деревне был один — низкий, вросший в землю по самые окна, с закопчёнными балками, на которых висели связки лука и сушёных трав. Пахло кислым пивом, дымом, мокрой шерстью и чем-то пригоревшим. В очаге тлели торфяные брикеты, пол был засыпан соломой, а единственное окно затянуто бычьим пузырём, сквозь который день казался жёлтым и больным. За стойкой стояла старуха — сухая, как прошлогодняя трава, в тёмном платке, завязанном под подбородком. За столом у очага сидели трое мужчин. Не крестьяне: на поясах ножи в потёртых ножнах, на плечах серые плащи сборщиков дани с серебряной звездой на застёжке.

Я подошла к стойке и положила застёжку перед старухой.

— Хлеб, — сказала я. — Сыр, если есть. Сапоги и тёплую рубаху. И чего-нибудь в дорогу.

Старуха взяла застёжку двумя пальцами, брезгливо и осторожно. Посмотрела на неё. На мой белый плащ с серебристым мехом. На мои босые, изрезанные настом ноги, оставлявшие на соломе бурые следы. И ничего не сказала.

Зато сказал кто-то у меня за спиной.

— Иди-ка сюда, красавица.

Я не обернулась. В храме этому учат рано: если не оборачиваться, иногда от тебя отстают.

Иногда.

Тяжёлая ладонь легла мне на плечо и рывком развернула. Здоровенный, рыжебородый, с маленькими, глубоко посаженными глазками, хитрыми и сонными, как у кабана. От него несло пивом, лошадью и давно не стиранной рубахой.

— Эльфийский плащик, — протянул он, щупая мех у меня на плече толстыми пальцами. — Эльфийская застёжечка. А ножки-то босые. Украла, да? Или сбежала откуда?

— Отпустите.

— За беглых эльфы платят серебром. — Он подтянул меня ближе, и его приятели за столом заржали. — Только до заставы день пути. А день — это долго, красавица. Можем покуда и познакомиться…

— Я бы не стала, — сказала я. — Правда. Ради вашего же блага.

Он расхохотался и дёрнул меня к себе.

Дверь за его спиной открылась.

Я не услышала шагов. Я услышала тишину — так замолкает лес, когда в него входит хищник. Приятели рыжего перестали ржать. Старуха за стойкой отступила к стене и вжалась в неё, комкая край передника. Даже торф в очаге, кажется, перестал потрескивать.

Кассиэль прошёл через трактир не спеша, пригнув голову под балками. На меня он не смотрел. Он смотрел на руку, которая держала моё плечо, — внимательно, задумчиво, как смотрят на насекомое, решая, раздавить его или стряхнуть.

Рыжий обернулся.

— Тебе чего, рябой? Иди, куда шёл…

— Эта рука, — сказал Кассиэль негромко. — Она тебе очень нужна?

Рыжий не понял. Он не успел понять.

Кассиэль взял его за запястье. Просто взял, как берут со стола чашку. И сжал.

Хруст был такой громкий, что я вздрогнула. Рыжий взвыл и рухнул на колени, а свободной рукой схватился за нож на поясе.

Кассиэль положил ладонь ему на лицо.

Этот звук я запомню на всю жизнь. Шипение — как вода, плеснувшая на раскалённую сковороду. И крик, который оборвался слишком быстро. Остального я описывать не стану.

Когда Кассиэль убрал руку, рыжий больше не двигался.

Двое за столом вскочили, опрокинув скамью. Один потянулся к ножу. Кассиэль посмотрел на него. Просто посмотрел — и в чёрной глубине его глаз на миг полыхнули угли.

— Кто следующий? — спросил он вежливо, как спрашивают, кому ещё налить.

Никто.

Он снял с пояса мёртвого тугой кошель и ключ от конюшни. Взвесил кошель на ладони, повернулся к старухе и бросил его на стойку.

— Хлеб, — сказал он. — Сыр. Сапоги. Тёплую рубаху. И чего-нибудь в дорогу.

Мои слова. Слово в слово. С той же интонацией.

⁂

Старуха собирала всё молча, не поднимая глаз, и руки у неё тряслись так, что сыр дважды падал на пол. На Кассиэля она не смотрела. Но когда он вышел седлать лошадь, она перегнулась через стойку и вцепилась мне в рукав. Пальцы у неё были сухие и цепкие, как птичьи лапы.

— Пепельный, — прошептала она, и дыхание её пахло луком и страхом. — Мне бабка рассказывала, а ей — её бабка, а той — её. Эльфы запрещали, жгли тех, кто болтал, а мы всё одно рассказывали. Шёпотом, на ночь, детям в колыбель. «Не ходи в лес в Долгую Тьму, не то заберёт Пепельный». И ещё: когда он вернётся, мир снова сгорит. Весь. До последней травинки.

Она сунула мне в руки ещё одну краюху — тёплую, с хрустящей коркой, сверх оплаченного.

— Беги от него, девочка. Пока ноги носят.

Я не ответила. Что тут ответишь? Что я уже пробовала — и вернулась сама?

⁂

Мы ехали вдвоём на лошади мертвеца — гнедой, лохматой, с белой звёздочкой на лбу и недовольным нравом. Я впереди, он позади, и его руки на поводьях по обе стороны от меня, как прутья клетки. Новые сапоги были велики на два размера, и я набила носы соломой. Шерстяная рубаха кусалась. Хлеб был чёрствым по краям, а сыр — солёным до горечи. Ничего вкуснее я в жизни не ела и ненавидела себя за это.

Дорога петляла меж холмов, укрытых жёлтой сухой травой, которая шуршала под ветром, как старый пергамент. Иногда попадались каменные пирамидки — путевые знаки, сложенные чьими-то руками бог знает когда. Небо было высоким и бледным, словно выцветшим от стирки.

Деревня давно скрылась за холмами, когда я заговорила.

— Ты мог просто его оттолкнуть.

— Мог.

— Тогда почему?

Он молчал так долго, что я решила: не ответит. Лошадь фыркала, переступая через корни. Потом он наклонился, и его голос оказался у самого моего уха, а дыхание — горячее, пахнущее дымом — тронуло шею.

— Он тронул то, что принадлежит мне.

По спине у меня пробежали мурашки. Не от холода. И это было хуже всего.

— Я тебе не принадлежу.

— Твоя кровь течёт во мне, Рейна. Это делает тебя моей больше, чем ты думаешь.

— Тогда и ты мой, — сказала я раньше, чем успела подумать. — Раз уж моя кровь держит тебя в этом теле. Выходит, я твоя хозяйка. А ты — мой очень дорогой и очень невоспитанный пёс.

Тишина. Только скрип седла и тяжёлое дыхание лошади.

А потом он засмеялся. Тихо, низко, так, что смех отдался у меня в позвоночнике, как гул колокола.

— Осторожнее, королева. Псы иногда кусают хозяев. А насчёт крови ты ошибаешься. У меня её нет, моя королева. Только пепел.

⁂

На ночлег мы остановились в ложбине под нависшей скалой, где ветер не доставал. Кассиэль развёл огонь щелчком пальцев — теперь уже легко, без удивления — и ушёл в темноту. Сторожить, сказал он. По-моему, он просто не хотел сидеть со мной у одного костра.

Я размотала повязку на предплечье — полосу, оторванную от подола ритуального платья, когда-то белую, теперь бурую и заскорузлую. Тряпка присохла, и я отдирала её медленно, по ниточке, шипя сквозь зубы. Порез был глубоким, с рваными краями — память ножа Таэлира и ногтей Кассиэля.

Я наклонилась к огню, чтобы рассмотреть его лучше.

И замерла.

В глубине раны, под тёмной кровью, что-то светилось. Совсем слабо. Тонкая золотистая нить, как отблеск свечи на дне колодца, как солнечный луч, застрявший в мёде. Я загородила порез ладонью от костра.

Нить не погасла.

Это был не отблеск огня. Свет шёл изнутри. Из меня.

Я смотрела на свою руку и вспоминала оборванный крик принца: «Ты — иск…»

И только теперь подумала, что он собирался сказать вовсе не «искушение».

Глава 6. Пепельные пустоши

Кассиэль

Рыжий сборщик дани не стоил того, чтобы о нём думать. Я и не думал.

Я думал о том, как она на меня посмотрела после.

Не со страхом. Страх я знал в лицо, как старого знакомого: за прежнюю жизнь я видел его чаще, чем рассветы, — в глазах врагов, союзников, жрецов, любовниц. Она посмотрела иначе. Так смотрят на пса, который только что загрыз соседского ребёнка: с ужасом — и с разочарованием. Будто ждала от меня чего-то другого. Будто я её подвёл.

Это было смешно. Чего она могла ждать от бога войны? Милосердия? Хороших манер?

И всё же я просидел полночи на скале над ложбиной, кутаясь в темноту, как в плащ, глядя, как внизу медленно гаснет её костёр, — и вспоминал этот взгляд. И ненавидел себя за то, что вспоминаю.

Прежде мне было всё равно, как на меня смотрят. На меня просто никто не смотрел — камень не удостаивают взглядом. А теперь одна смертная служанка с красными от щёлока руками смотрела на меня с разочарованием, и это сидело во мне, как осколок в ладони: не больно, но не забудешь.

Это её кровь, решил я. Вместе с ней во мне оказалось слишком много человеческого. Пройдёт.

⁂

Когда я спустился к костру, она не спала.

Она сидела, прижавшись спиной к холодной скале, укрывшись плащом до подбородка, и прижимала к груди раненую руку. Повязка была свежей, туго затянутой — слишком туго, слишком старательно. И слишком торопливо она спрятала руку под мех, едва увидела меня.

Но я успел заметить. Сквозь ткань, едва различимо в багровых отсветах углей, пробивалась золотая нить. Тонкая, как волос, тёплая, как летний полдень.

Значит, увидела. Раньше, чем я рассчитывал.

Я сел напротив. Она подняла на меня глаза — серо-зелёные, тёмные сейчас, как вода в омуте, — и я видел, как она собирается с духом. Смертные всегда собираются с духом так, будто сейчас прыгнут в ледяную реку: вдох, задержать дыхание, шаг.

— Что такое Искра? — спросила она.

Прямо. Без обходных троп. Я почти восхитился.

— Эльфийская сказка.

— Принц крикнул: «Ты — иск…». И ты заткнул ему рот бурей.

— Я заткнул бурей его собак. Рот у него остался при нём. К сожалению.

— Это не ответ.

— Это ответ на вопрос, который ты задала. Задай другой.

— Хорошо. — Она подалась вперёд, и огонь высветил её лицо — острое, бледное, упрямое. — Почему у меня в ране свет?

— Потому что ты сидишь у костра.

— Я загораживала её ладонью.

— Значит, плохо загораживала.

— Ты всегда так разговариваешь? Как будто бросаешь собаке кость — и обязательно без мяса?

— А ты веришь эльфам? — спросил я вместо ответа.

Она долго молчала. Угли потрескивали, где-то далеко в темноте кричала ночная птица.

— Я никому не верю, — сказала она наконец.

— Правильно. Держись этого.

Она смотрела на меня поверх огня, и я понимал: она не поверила ни одному моему слову. Но и доказать ничего не могла. Пока не могла.

Это «пока» не давало мне покоя до самого рассвета.

⁂

На рассвете я повёл лошадь на восток.

У Элариона были гончие, кони, лучники и весь Илларин за спиной. У меня — одна измотанная смертная и одна чужая кляча с дурным нравом. В открытом поле он догнал бы нас за день, а то и раньше.

Значит, нужно было идти туда, куда эльфы не ходят.

К полудню лес поредел. Сосны мельчали, корявились, сбрасывали хвою, пока не превратились в чёрные мёртвые остовы, похожие на воткнутые в землю обгорелые кости. Снег посерел, потом почернел, потом стал рассыпчатым и тёплым под копытами. Воздух загустел и запах гарью — старой, выдохшейся, как запах давно сгоревшего дома. А потом перед нами распахнулась равнина.

Чёрная. До самого горизонта.

Пепел лежал здесь дюнами, как песок в пустыне, и ветер выглаживал их гребни в мягкие текучие линии. Из пепла торчали обугленные стволы, оплавленные валуны в стеклянной глазури, рёбра чего-то огромного — дракона, а может, осадной башни, — выбеленные и источенные ветром. Ни травинки. Ни птицы. Ни звука, кроме шороха. Только ветер поднимал серые вихри и вёл их через равнину, медленно, торжественно, словно процессию призраков на похоронах.

Рейна встрепенулась у меня в руках.

— Что это?

— Пепельные пустоши.

Само название горчило на языке. Тысячу лет назад здесь зеленели холмы, мягкие, как спина спящего зверя, и бежала река — быстрая, звонкая, с белыми камнями на дне. Здесь стояли мои шатры в последнюю ночь войны: алые, расшитые медью, с огнями у входов, и мои воины пели у костров песни, от которых дрожали звёзды.

И здесь меня предали.

Не эльфы. Эльфы пришли потом — с цепями, песнями и чистыми руками. Первыми ударили в спину орки. Мои орки. Мои возлюбленные дети войны, которые веками шли в бой с моим именем на губах и умирали с ним же. Их вождь вошёл в мой шатёр без оружия, с непокрытой головой, опустился на колени, как опускался сотни раз, — и вогнал мне в грудь серебряный кол, который ему вложили в руку эльфы.

Я сжёг его. И всё его войско. Я сжёг холмы, реку, белые камни на её дне и небо над ними. Это было последнее, что я сделал богом, прежде чем на меня надели цепи.

Пепельные пустоши. Моё последнее слово, сказанное миру.

— Эльфы сюда не сунутся, — сказал я вместо всего этого. — Здешний пепел гасит их магию. Серебро тускнеет, гончие рассыпаются, руны молчат. Для них это мёртвая земля.

— А для тебя?

Я не ответил. Для меня это была могила. Моя собственная, вырытая моими руками. Но таких вещей смертным не рассказывают.

⁂

Мы ехали весь день. Лошадь проваливалась в пепел по бабки, фыркала и трясла головой. Пепел висел в воздухе мутной пеленой, оседал на ресницах, на губах, скрипел на зубах. Солнце сквозь него казалось тусклой медной монетой. Рейна замотала лицо краем плаща, оставив только глаза, и давно перестала задавать вопросы.

К вечеру она уснула.

Я понял это, когда её голова опустилась мне на плечо. Спина, которую она весь день держала прямой, как струна, лишь бы не коснуться меня, обмякла. Она привалилась ко мне всем телом — тёплая, лёгкая, почти невесомая, пахнущая дымом, дорожной пылью и чем-то ещё. Чем-то своим. Горьковатым и свежим, как мокрые листья после дождя.

Я не двигался.

Если она проснётся, снова начнёт держать спину и тратить силы, которых у неё нет, — сказал я себе. А её силы — это мои силы. Простой расчёт. Ничего больше.

Я не двигался четыре часа.

За эти четыре часа я несколько раз ловил себя на том, что слушаю её дыхание — ровное, тихое, с лёгкой хрипотцой на выдохе. Что считаю его, как считал когда-то удары молота. И несколько раз напоминал себе про расчёт.

Расчёт отчего-то не помогал.

⁂

Барабаны мы услышали в сумерках.

Глухие, раскатистые, они шли из земли, из пепла, из самого воздуха, и от них дрожал пепел на гребнях дюн, осыпаясь тонкими струйками. Я знал этот ритм. Знал его лучше, чем собственное сердцебиение. Когда-то он означал «мы идём за тобой, отец». Теперь — «чужаки на нашей земле».

Рейна проснулась и выпрямилась так резко, будто обожглась об меня.

Из серой мглы впереди выступили тени. Справа. Слева. Позади. Высокие, на голову выше людей, широкоплечие, с тяжёлыми копьями и кривыми, как молодой месяц, клинками. Серо-зелёная кожа в разводах пепла, нанесённого ладонями, как боевая раскраска. Тёмные волосы заплетены в толстые косы, перевитые костяными бусинами и медными кольцами. На плечах — шкуры, на груди — пластины из выделанной кожи с выжженными узорами. Нижние клыки чуть выступали над губой и были окованы медью. Десять. Пятнадцать. Двадцать.

Орки.

Мои дети. Внуки моих предателей.

Из круга вышла орчиха со шрамом через всё лицо — от левого виска до подбородка. Седые косы до пояса, в них вплетены вороньи перья. На шее — ожерелье из маленьких птичьих черепов, постукивающих при каждом шаге. Шаманка — это я понял сразу. Она не взглянула на меня. Она подняла голову и долго втягивала ноздрями воздух, как зверь, почуявший кровь.

А потом перевела жёлтые, как у волчицы, глаза на Рейну.

И улыбнулась.

— Искра, — сказала она на своём гортанном языке, перекатывая звуки, как камни в горле. И повторила на общем — медленно, смакуя каждое слово, как мёд: — Живая Искра. Вождь Тарвас даст за неё больше, чем за сотню коней.

Я почувствовал, как Рейна перестала дышать.

Она медленно повернула голову и посмотрела на меня. Не на орков. Не на копья, нацеленные ей в грудь. На меня.

В её глазах был один вопрос, и он был не про орков.

«Ты знал?»

Я не ответил. Я посмотрел на шаманку и сказал то, что когда-то говорил их вождям, когда те забывались:

— Попробуй взять.

Глава 7. Цена Искры

Рейна

Я думала, сейчас будет бой.

Двадцать орков против одного бога в трещинах. Я уже видела, как Кассиэль убивает, и знала, чем это кончится: кровью на пепле и его губами на моей руке. А крови во мне оставалось на донышке — я чувствовала это по тому, как звенело в ушах и немели кончики пальцев.

Но боя не было.

Шаманка что-то рыкнула на своём языке, и Кассиэль ответил ей — тоже по-орочьи. Тихо, ровно, даже лениво. Слова были тяжёлыми и глухими, как удары в кожу барабана, и от них орки вокруг нас застыли. Кто-то опустил копьё. Кто-то попятился, наступив соседу на ногу. Самый молодой, почти мальчишка, с одной-единственной косицей за ухом, сделал знак от злого духа.

Шаманка перестала улыбаться.

Она долго смотрела на него жёлтыми волчьими глазами — на трещины на его шее, на пепел, который не оседал на его коже, а соскальзывал с неё, словно боялся прикоснуться. Птичьи черепа у неё на груди перестали стучать. Потом она бросила своим короткое слово.

Нам связали руки.

И Кассиэль дал себя связать. Сам протянул запястья — так протягивают руку даме, помогая сойти с лестницы. Я смотрела на него и не понимала. Тот, кто вчера превратил снег в пепельную бурю, сегодня позволял оркам вести себя на верёвке, как бычка на ярмарку.

— Ты что делаешь? — прошипела я.

— Иду в гости, — ответил он. — Невежливо врываться без приглашения.

— Они нас связали!

— Они связали меня волосяной верёвкой. — Он посмотрел на свои запястья почти с нежностью. — Я тронут. Давно никто так не старался.

Скорее всего, он просто хотел увидеть, куда нас ведут.

А может, берёг мою кровь. Я уже не знала, какая из этих мыслей хуже.

⁂

Лагерь орков стоял в руинах.

Когда-то это была крепость — и строили её не эльфы. Чёрные стены в три человеческих роста, сложенные из огромных, грубо отёсанных глыб без капли раствора, башни с обрушенными верхушками, похожие на сломанные зубы, ворота, над которыми кто-то давным-давно стесал резной знак, оставив лишь размытый контур молота. Внутри, за стенами, горели сотни костров, и их рыжий свет плясал на камне, а пепел под ногами был утоптан до твёрдости мостовой.

Я ожидала увидеть зверей. Так об орках говорили в храме: дикие, грязные, едят сырое мясо и пленных, а детей своих бросают на мороз, чтобы выжили только сильные.

А увидела кузницу, из которой доносился ровный, певучий звон молота, и мастера в кожаном фартуке, который поднял голову от наковальни и проводил нас взглядом. Женщин у котла, которые спорили о чём-то так громко и весело, что одна, смеясь, замахнулась на другую черпаком. Шкуры, растянутые для просушки на деревянных рамах. Связки стрел, сложенные под навесом аккуратными пирамидами. Детей — серо-зелёных, большеглазых, с торчащими клычками, — которые бросили игру в костяшки и уставились на нас, открыв рты. Здесь был порядок. Суровый, военный, но порядок. Больше порядка, чем в нижнем городе Илларина.

Кассиэль шёл рядом и смотрел на стены. У него было странное лицо — неподвижное, как маска, и только на скулах ходили желваки. Так смотрят на сгоревший дом, в котором когда-то жили и были счастливы.

— Ты здесь бывал, — сказала я. Не спросила.

— Я здесь жил.

Больше он ничего не сказал.

Нас развели у ворот.

Кассиэля повели влево, к яме, накрытой решёткой из заострённых брёвен. Меня — вправо, к большому шатру из шкур, сшитых жилами и расписанных охрой: волки, вороны, языки огня. Он ни разу не обернулся. Я обернулась дважды — и возненавидела себя за это.

⁂

Шаманку звали Ургха. Она сама развязала мне руки, ловко, в два движения, усадила на мягкие шкуры у очага и сунула в ладони деревянную чашу, тёплую и гладкую от сотен прикосновений. В чаше было что-то горячее и густое, пахнущее мясом, дымом и горькими травами.

Внутри шатра было тепло и сумрачно. Под сводом висели пучки сушёных трав, связки перьев, костяные амулеты, тихо постукивающие на сквозняке. В очаге, обложенном речными камнями, тлели угли, а над ним на треноге булькал закопчённый котелок. Пахло полынью, жиром и чем-то сладковатым, незнакомым.

— Пей, — сказала Ургха на общем языке, грубо, но без злобы. — Ты пустая, как старый котёл. Из тебя пили слишком много и слишком жадно.

Я пила медленно, обжигая губы. Тепло растекалось по телу, медленно, как мёд, и вместе с ним возвращались мысли — одна тревожнее другой.

Ургха размотала повязку на моём предплечье. Долго смотрела на золотую нить в глубине раны, поворачивая мою руку к огню то так, то эдак, как ювелир — камень. Потом цокнула языком.

— Ты не знала, — сказала она. Не спросила. Сказала.

— Чего я не знала?

Она уселась напротив, скрестив ноги, подбросила в огонь пучок какой-то травы — тот вспыхнул синим и запах грозой — и рассказала.

Искры рождаются среди людей. Редко — одна на несколько поколений, как белая ворона в стае. В их крови живёт осколок той силы, что выплеснулась в мир в последней войне богов, когда небеса раскололись и боги разбились на куски. Кровью Искры можно запечатать бога. Можно кормить печать год за годом, капля за каплей, пока Искра не иссякнет.

— Иссякнет? — переспросила я. Голос прозвучал чужим и далёким.

— Умрёт, — просто сказала Ургха. — Сначала побледнеет. Потом начнёт кашлять. Потом таять, как свеча. Лет через двадцать. Иногда раньше. А эльфы тем временем ищут новую — и привозят её в храм ребёнком, пока та ничего не понимает и благодарит за честь.

Я вспомнила служанку, которая была до меня. Мне было семь, когда меня привезли. Её звали Ильва, у неё были светлые косы и тихий голос, и она учила меня, как правильно складывать льняные салфетки. Она была бледной, как воск, и кашляла по ночам так, что никто в каморке не мог уснуть. А через месяц нам сказали, что её забрала лихорадка.

А ещё — что с той осени в Ночь Долгой Тьмы вниз спускалась только я.

Чаша в моих руках задрожала, и бульон плеснул на шкуры. Ургха молча забрала её и поставила на землю.

— Есть ещё одно, — сказала она. — Самое главное. Кровь Искры можно взять силой. Нож, игла, зубы — всё сгодится. А силу — нет. Силу Искра может только отдать сама. Добровольно. По своей воле, из своих рук. И тот, кому она её отдаст, станет сильнее всех, кто ходит под этим небом.

Добровольно.

И тут всё встало на свои места — с тихим, страшным щелчком, как ключ в замке.

Разжатые пальцы в святилище: «Иди, если хочешь». Сделка про сны, на которую он согласился слишком легко. То, как он сидел неподвижно четыре часа, пока я спала у него на плече. Даже «держись, моя королева». Даже плащ.

Он не держал меня силой не потому, что был благороден. Он ждал. Терпеливо, как ждут, пока созреет яблоко на ветке, чтобы оно само упало в ладонь. Ждал, когда я сама отдам ему всё.

И он знал. С самого начала — знал.

⁂

Вождь пришёл, когда стемнело.

Я ожидала старика, седого и страшного, увешанного черепами врагов. Тарвас оказался молодым. Огромным — ему пришлось согнуться почти пополам, чтобы войти в шатёр, — в волчьей шкуре на плечах и кожаном доспехе, расписанном огненными узорами. Чёрные волосы заплетены в одну тяжёлую косу с костяными кольцами, на левой брови — белый рубец, отчего бровь казалась вечно приподнятой в насмешке. Клыки окованы не медью, как у прочих, а серебром — с эльфийских наконечников, догадалась я. Глаза у него были тёмные, как торф, и умные. Умнее, чем мне хотелось бы.

Он опустился на пятки вровень со мной и долго разглядывал меня — неторопливо, с ног до головы, как разглядывают лошадь на ярмарке. Или клинок, который собираешься купить.

— Ургха рассказала тебе про Искру, — сказал он. Голос у него был низкий, неспешный, с перекатами, как гром за холмами. — Значит, ты знаешь себе цену.

— Я не вещь.

— Нет, — согласился он. И это было так неожиданно, что я забыла, что хотела сказать дальше. — Вещь можно взять. А тебя — нельзя. Эльфы этого так и не поняли. Они держат Искр в клетках и пьют их по капле, как скряги — дорогое вино. Вместо того чтобы получить весь бочонок сразу.

— А ты, значит, понял.

— Орки уважают выбор. — Он чуть подался вперёд, и в его тёмных глазах заплясали отсветы огня. — Поэтому я спрошу тебя так, как тебя никто никогда не спрашивал. Останься здесь. Со мной. Не пленницей — женой вождя. У тебя будет свой шатёр и место у моего огня по правую руку. Мои воины защитят тебя от эльфов. Никто больше не тронет тебя ножом.

— Только ты, — сказала я. — И не ножом.

Он рассмеялся — коротко, искренне, запрокинув голову.

— Острая. Это хорошо. Острое долго не тупится.

Я смотрела на него и не могла понять, страшно мне или смешно.

Три дня назад я была никем — тенью с тряпкой в руках, частью стены. Сегодня бог ждал, когда я отдам ему себя, принц эльфов гонялся за мной с гончими, а вождь орков звал меня в жёны.

И никому из них не была нужна я. Всем была нужна Искра.

— А он? — спросила я. Не надо было спрашивать. Но спросила.

Тарвас пожал плечами, и волчья шкура сползла с одного из них.

— За его голову эльфы обещали столько серебра, что моё племя переживёт зиму без голода. Вороны принесли весть ещё вчера. Продам. Или убью. Решу утром. — Он поднялся, и шатёр сразу стал тесным, как сундук. — И ты тоже решишь утром. До рассвета у тебя есть время, Искра.

— У меня есть имя.

Он задержался у полога и обернулся.

— Скажешь его, когда станешь моей. Тогда и запомню.

Он ушёл. Меня никто не связал.

⁂

Ургха вернулась за полночь. Она опустилась рядом, кряхтя, как старое дерево на ветру, и долго смотрела в огонь. Потом заговорила — шёпотом, хотя в шатре мы были одни.

— Вождь не знает, кого привёл в свой лагерь. Он молод и верит только в то, что можно потрогать. А я знаю. Моя наставница знала его язык. Её наставница знала его имя. А её — видела, как горели эти холмы. — Она повернулась ко мне, и в жёлтых глазах стоял страх. Настоящий, древний, впитанный с молоком. — Если он вернёт силу, орки снова станут его рабами. Или станут пеплом, как те, что лежат под этими стенами. Скажи вождю, кто он. Одно слово — и Тарвас убьёт его до рассвета, а ты будешь свободна. Клянусь тебе в этом своими предками до седьмого колена.

Она ушла, не дождавшись ответа.

Я сидела у гаснущего очага долго, обхватив колени, и смотрела, как угли подёргиваются серым пеплом. Потом встала, накинула плащ и вышла в ночь.

Лагерь спал. Костры догорали, где-то фыркали лошади, у дальнего шатра скулила во сне собака. Небо над руинами было чистым и чёрным, усыпанным звёздами, как рассыпанной солью.

У ямы с решёткой никто не стоял. Стража и не была нужна: стены ямы были выложены серебряными пластинами. Старыми, потемневшими, изъеденными временем, но серебряными.

Внизу, в темноте, едва тлели трещины. Их было больше, чем утром. Намного больше — они покрывали его лицо, шею, руки, как трещины покрывают пересохшую глину. И в воздухе над ямой тихо, как первый снег, кружил пепел.

Он поднял голову. Угли глаз вспыхнули — и погасли.

— Ну что, моя королева, — сказал Кассиэль. Голос был хриплым и сорванным, как в ту первую ночь в храме. — Пришла попрощаться? Или поторговаться?

Глава 8. Закон Круга

Кассиэль

Серебро тянуло из меня жизнь медленно и неторопливо, как пиявка — кровь.

Старые пластины на стенах ямы потемнели от времени, покрылись бурыми пятнами и зелёными разводами, но своё дело помнили. Они не жгли — они высасывали. К полуночи у меня осыпались кончики пальцев. К часу ночи — край левого уха. Пепел ложился на дно ямы серым пухом, и я сидел в нём, как в собственном прахе, и считал, сколько меня останется к рассвету.

Выходило немного.

Можно было вырваться ещё на равнине. Сжечь шаманку, половину отряда и уйти с девчонкой на руках, пока остальные хватаются за копья. Вопрос был лишь в том, сколько крови понадобится на такой пожар — и сколько её останется в девчонке после.

И ещё мне хотелось увидеть. Увидеть, во что превратились мои орки без меня. Я увидел. Они жили в руинах моей крепости, носили бусы из костей моих врагов, ковали клинки по моим чертежам и били в барабаны моим ритмом. И не помнили моего имени.

Это было больнее серебра.

А потом над решёткой появилась она.

⁂

— Ты знал, — сказала Рейна.

Не спросила — сказала. Она стояла на коленях у края ямы, вцепившись пальцами в заострённые брёвна решётки, и луна светила ей в спину, превращая её в тёмный силуэт с серебряной каймой. Лица я не видел. Только очертания плеч под плащом и светлые пряди, выбившиеся из-под капюшона и шевелящиеся на ветру.

Я мог солгать. Я лгал ей три дня подряд, и это давалось легко, как дыхание. Но теперь ложь стоила бы дороже правды. А я всегда умел считать.

— Знал, — сказал я.

— С самого начала.

— С первой капли.

Она молчала. Я слышал, как она дышит — часто и неровно. Она бежала сюда через весь лагерь.

— И ты не держал меня силой, потому что силой нельзя. Ты ждал, пока я сама… — Голос у неё сломался на полуслове, как сухая ветка.

— Да.

Я ждал крика. Слёз. Того, что она плюнет в яму и уйдёт к своему вождю, в тёплый шатёр, к бульону и волчьим шкурам. Вместо этого она спросила очень тихо:

— Почему ты сейчас не врёшь?

Хороший вопрос. У меня не было на него хорошего ответа.

— Потому что ты всё равно уже знаешь. А раскрытая ложь — фальшивая монета. Ею ничего не купишь.

Это была правда. Не вся.

— Тарвас позвал меня в жёны, — сказала она.

Во мне что-то шевельнулось — тяжёлое, горячее, медленное, как магма под коркой земли. Трещины на руках полыхнули под пеплом, на миг осветив яму рыжим.

— Мудрый вождь, — сказал я ровно. — Знает, где лежит лучший кусок.

— А Ургха знает, кто ты. Она хочет, чтобы я сказала вождю. Тогда тебя убьют до рассвета, а я буду свободна.

— Так скажи.

Она вздрогнула — я увидел, как дёрнулись её плечи.

— Скажи, — повторил я. — Тарвас не дурак. Он будет беречь тебя. Тёплый шатёр, сытная еда, двести копий вокруг. Он будет беречь тебя так, как берегут лучшую кобылу в табуне. Холить, чистить, выводить на солнце.

— А ты?

Я поднял голову. Снизу я наконец разглядел её глаза — серо-зелёные, огромные, и в них отражались угли моих трещин, как костры в реке.

— А я буду беречь тебя, как берегут последний глоток воды в пустыне. Жадно. Ревниво. Ни с кем не делясь.

Тишина была долгой. Потом она фыркнула — коротко, зло, почти как смех.

— Трудный выбор. Кобыла или вода.

— Есть и третья дорога. Эльфы. Там ты будешь кормом. Без выбора и без шатра.

Она перестала смеяться.

— У меня условия, — сказала она. Голос стал ровным и сухим. Так торгуются на рынке старухи, которые знают: второго покупателя не будет, но и уступать они не собираются. — Первое. Ты вернёшь Мэйв. Живой и целой. Второе. Ты больше никогда мне не лжёшь.

Я смотрел на неё снизу вверх, из своей серебряной ямы, и подбирал слова — тщательно, как ювелир подбирает камни для оправы. Боги не нарушают клятв. Это единственная роскошь, которую мы не можем себе позволить: клятва бога связывает его крепче цепей.

— Подругу я верну, — сказал я. Это было просто. — И я не скажу тебе ни слова лжи в ответ на то, о чём ты спросишь.

Она кивнула.

Она не заметила.

Забавно. Когда-то я гордился бы такой формулировкой, как гордятся удачным ударом. Сейчас она оставляла во рту привкус ржавчины.

— Как тебя отсюда вытащить? — спросила она.

— Никак. — Я улыбнулся, и от улыбки по щеке побежала новая трещина. — Я выйду отсюда сам. Утром. По закону.

— По какому закону?

— По моему.

⁂

Закон Круга придумал я.

Давным-давно, когда орки ещё резали друг друга за косой взгляд и украденную овцу, а кланы истребляли соседей под корень, я дал им правило. Любой воин может вызвать вождя в Круг, и всё решит поединок — один на один, при всём племени, без яда, без засад, без ножа в спину. Правило пережило меня. Имя забыли, а закон остался, как остаётся русло, когда река давно ушла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.